

ВАЛЕНТИН
ПИКУЛЬ



ЧЕСТЬ
ИМЕЮ



Валентин Пикуль
Честь имею. Том 1

«ВЕЧЕ»

1987

Пикуль В. С.

Честь имею. Том 1 / В. С. Пикуль — «ВЕЧЕ», 1987

ISBN 978-5-4444-8943-7

«Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего профессиональным разведчиком и свидетелем политических и дипломатических интриг, которые привели к Первой мировой войне.

ISBN 978-5-4444-8943-7

© Пикуль В. С., 1987

© ВЕЧЕ, 1987

Содержание

Человек без имени	6
Часть первая. Лучше быть, чем казаться	9
Глава первая. «Правоведение»	9
1. Прощание славянки	13
2. Драки в конаке	17
3. Чижик-пыжик, где ты был?..	21
4. В пещерах жизни	25
5. Не надо стреляться	31
6. Хорошо быть сербом...	36
7. Еще лучше быть русским	41
Постскриптум № 1	45
Глава вторая. Разбег над пропастью	47
1. Чужое письмо	51
2. Без объявления войны	54
3. Граница без замка	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Валентин Пикуль
Честь имею. Исповедь офицера
Российского Генштаба. Том 1

© Пикуль В. С., наследники, 2008

© ООО «Издательство «Вече», 2008

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

* * *

Человек без имени

Эта книга имеет давнюю историю, и работал я над нею непростительно долго, иногда прерывая свой труд внутренними сомнениями – стоит ли продолжать? Была и своя предыстория. Я хорошо помню: это случилось в августе 1964 года, когда у нас и за рубежом отмечался трагический юбилей – ровно полвека со времени возникновения первой мировой войны.

Всегда свободный в выборе тем, я старательно вникал в подоплеку тех загадочных событий, которые эту войну вызвали. Мне было интересно забираться в дебри Большой Политики, которая выражалась в ультиматумах берлинской Вильгельмштрассе, в туманной казуистике лондонского Уайтхолла, в гневных нотациях венской Балльплатцен; мне хотелось знать, что думали тогда французские дипломаты на набережной Кэ д'Орсэ, как лихорадило римскую Консульту и чего боялись в Петербурге – в здании у Певческого моста, где располагалось министерство иностранных дел. Наконец, я был сильно заинтригован, прикоснувшись к тайнам разгрома армии генерала Самсонова... Какие злобные силы завели ее в топи Мазурских болот и оставили там на погибель? Кто виноват? И почему не сработала русская разведка?

Именно в эти давние дни, дни кровавого юбилея, мне привелось быть гостем в приятельском доме.

.....

Возник, помнится, разговор о Версальском мире. Казалось бы, немцам, потерпевшим поражение, только и радоваться условиям мира – ведь целостность Германии не пострадала, победители великодушно сохранили единство страны и нации. Но Германия взревела, словно бык, которого повели кастрировать. Немцы в 1919 году были раздавлены не тем, что Германия проиграла войну, – их угнетало сознание, что загублен идеал империи (с колониями и рабами). Таким образом, для немцев имперские понятия стояли выше национальных. В этом отчасти и кроется секрет успеха, с каким Гитлер пришел к власти, обещая воскресить «третий рейх» – с колониями и рабами. Фюрера вознесло на дрожжах, заквашенных задолго до него. От крестоносцев-тевтонов до Гитлера – слишком большой путь, но он старательно обвехован для прихода фашизма – маркграфами, курфюрстами, канцлерами, кайзерами, писателями, епископами, философами и лавочниками...

Напротив меня сидела миловидная дама с удивительно живыми глазами, она держала на коленях большую муфту. Когда я удалился в соседнюю комнату, чтобы выкурить в одиночестве сигарету, эта женщина последовала за мной.

– Необходимо поговорить. Именно с вами, – сказала она. – Я обладаю рукописью мемуаров, которые вас как исторического беллетриста должны бы заинтересовать...

Я смолчал, ибо к чужим рукописям испытываю давнее и прочное отвращение. Возникла пауза, весьма неловкая для обоих. Ради вежливости я спросил – кто же автор этих воспоминаний?

– А разве не все равно? – ответила женщина. – Сейчас некрасивое слово «шпион» принято заменять нейтральным – «разведчик». Пусть даже так! Но дурной привкус от «шпиона» сразу же улетучится, если я вам сообщу: автор записок до революции был видным офицером российского Генштаба, он получил Георгия высшей степени за неделю до того дня, когда германский посол Пурталес вручил Сазонову ноту, которой кайзер объявил войну России... Россия еще не начинала мобилизации, когда автор записок эту войну уже выиграл!

– Ситуация забавная, – согласился я. – Но я, мадам, терпеть не могу «шпионских» романов, в которых главный герой совершает массу глупостей и все равно остается хитрее всех. Я таких романов не пишу и сам их никогда не читаю.

– Рукопись не содержит ничего детективного, – возразила дама. – Все было гораздо серьезнее. Автор воспоминаний предупреждал внезапность вражеского нападения, он имел

прямое отношение к анализу пресловутого «плана Шлифена». Но и тогда имя его не было опубликовано! После революции служба этого человека, как вы и сами догадываетесь, тоже не афишировалась. Генерал-майор старой армии, он закончил жизнь генерал-майором Советской Армии. Согласитесь, что в течение одной жизни дважды стать генералом не так-то уж просто...

Я согласился. Из глубины обширной муфты женщина извлекла рукопись, скрученную в плотный рулон.

– Копий нету, – предупредила она. – Это единственный экземпляр. Скажу больше: я дарю вам записки. Вы вольны поступать с ними, как вам заблагорассудится...

Мне показалось странным, что титульный лист в рукописи отсутствовал – ни названия, ни дат, ни имени. Повествование начиналось сразу – как обрыв в загадочную пропасть.

– Мадам, но тут не хватает многих страниц.

– Да, они изъяты умышленно. И пусть таинственный автор всегда останется для нас безымянным. Мало того, считайте, что этот человек был, но его и не было...

– Неужели при всех его заслугах перед отечеством он никогда не поминался в печати?

– Однажды, – тихо произнесла дама. – Совсем недавно о нем кратко сообщил Владимир Григорьевич Федоров.

– Напомните, какой это Федоров?

– Генерал-лейтенант. Ученый-конструктор.

– Федоров тоже не назвал его имени?

– Нет.

– Странно...

– Думаю, что Федоров имени его и не знал. Зато он хорошо запомнил внешность: когда этот офицер Генштаба поворачивался в профиль, это был профиль... Наполеона!

Я сказал, что образцовый агент должен обладать заурядной внешностью, чтобы ничем не выделяться из публики:

– А с лицом Наполеона разоблачение неизбежно.

Дама до конца затянула на муфте застежку-молнию.

– Значит, повезло, – последовал ответ. – Не забывайте, что у французов есть хорошая поговорка: если хочешь остаться незаметным на улице, останись под фонарем...

Прошло немало лет, и я начал думать, что этой женщины давно нет в живых, она никогда не напоминала о себе. Между тем шли годы. Я не раз подступался к анонимной рукописи, не зная, как вернее использовать материал, в ней заключенный. Лишь после написания романа «Битва железных канцлеров» я начал улавливать взаимосвязь между зарождением Германской империи времен Бисмарка и теми дальнейшими событиями, которые коснулись анонимного автора.

Так по воле случая безымянные мемуары легли на мой письменный стол, я перекроил записки на свой лад. Читатель и сам догадается, где говорю я, беллетрист, а где говорит автор воспоминаний.

Анонимный мемуарист нигде не раскрыл секретной специфики русской разведки, и мне лишь остается следовать этому правилу. Впрочем, автор проделал эту работу за меня, о чем красноречиво свидетельствуют вырванные из рукописи страницы и большие изъятия в тексте, где, наверное, говорилось о деталях его трудной и благородной профессии. Но вот что удивительно – этот загадочный человек нигде не пытался предстать в лучшем свете, будто заранее уверенный в том, что все им сделанное совершалось ради высшей идеи – ради ОТЕЧЕСТВА, и потому, даже в своих ошибках, он оставляет за собой великое право мыслить самостоятельно.

Конечно, нелегко объяснять подоплеку той великой тайны, в которой войны рождаются! Но именно это мы и попробуем сделать сейчас, идя своим путем. Путем самых крайних возможностей, иначе говоря – следуя за историей путем литературным, наиболее для меня приемлемым...

Я предлагаю читателю роман-биографию человека, суть которого образно выразил Павел Антокольский:

В этой биографии богато
отразился наш XX век —
много от Берлина до Белграда
истрепал подметок человек,
много он испортил оробелых
девушек, по свету колеся...
Биография его в пробелах.
Но для нас существенна не вся!

Часть первая. Лучше быть, чем казаться

Глава первая. «Правоведение»

*Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель.
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель...*

Осип Манделштам

НАПИСАНО В 1934 ГОДУ:

...дождь. Австрийский канцлер Дольфус, большой приятель Бенито Муссолини, умер хуже собаки – без святого причастия. Мало того, убийцы отказали ему, умирающему от ран, не только в помощи врачей, но даже в глотке воды. Если это рецидив аншлюса, то подобные настроения мне знакомы: в 1919 году сторонников аншлюса в Вене было хоть отбавляй, ибо – когда-то великая – Австрия (после отпадения Чехословакии и Венгрии, после создания самостоятельной Югославии) превратилась в ничтожную федерацию – подле еще могучей Германии, сохранившей свою территориальную целостность.

По слухам, Муссолини пребывает в ярости и выставил войска на границе с Тиролем; его нагоняй, сделанный Гитлеру, по-моему, превосходит. Дуче объявил, что ХХХ веков истории смотрят на Рим, а за Альпами живут люди, которые во времена Цезаря и Вергилия еще не ведали письменности и бегали в звериных шкурах с дубинами... Пока что Муссолини взирает на Гитлера, недавно пришедшего к власти, как породистый и заживевший бульдог глядит на жалкого и бездомного щенка... Посмотрим, что будет дальше!

Опять дождь. Паршивейший дождь. Никак не ожидал, что надобность в моей поездке отпадет, о чем мне и сообщили сегодня в Генштабе, а я уже настроился побывать в Белграде.

– Не есть ли это знак недоверия к моей персоне?

– Нет, – успокоили меня. – Просто вы опоздаете в Сплит, а король Югославии спешит в Марсель на быстроходном миноносце «Дубровник». Конечно, его встреча с французским министром Барту интересна, но ваша поездка... рискованна.

Я ответил, что в роли нейтрального наблюдателя с чистым советским паспортом не вижу причин для риска:

– Осложнений не возникнет, паче того, я до сих пор дружески переписываюсь с Виктором Алексеевичем Артамоновым.

В. А. Артамонов до революции был военным атташе в Сербии и остался в Белграде референтом по русским вопросам, сохранив добрые отношения с королевской семьей Карагеоргиевичей. К тому времени белоэмиграция уже рассеялась по «лавочкам»: Югославия пригрела военщину, Париж и Прага – интеллигенцию, Америка дала приют инженерам и дельцам, а Берлин всосал в свои трущобы наше отребье... Продолжая беседу, я сказал, что зарождение «Восточного пакта» укрепит связи Москвы с Парижем:

– Именно через Белград и Прагу! В этом случае поведение короля Югославии важно и для безопасности Франции...

Со мною согласились: Луи Барту – реальный политик, и он прежде других политиков Европы ощутил угрозу, исходящую от Германии, ставшей гитлеровской, но Варшава уже пре-

дупредила Париж, что Польша не даст гарантий ни в отношении Литвы, ни в отношении Чехословакии:

– Напротив, пан Юзеф Пилсудский отказывается от участия в «Восточном пакте», беря в этом пример с Гитлера... Ваше приятное знакомство с Карагеоргиевичами – это лирика юности, а с начальником сербской разведки Аписом вы так наследили от Сараево до Берлина, что теперь по вашим кровавым следам до сих пор шляются всякие там историки...

Я ответил, что не «всякие», а весьма почтенные:

– Хотя бы Покровский или Тарле, но они еще не скоро узнают то, что известно одному мне. А что касается моих связей с разведкой Сербии, то полковник Апис давно расстрелян в глубоком овраге на захолустной окраине греческих Салоник.

На это мне чересчур резко ответили:

– Останься вы тогда с Аписом, Карагеоргиевичи не пощадили бы и вас – за компанию с этим авантюристом... Так и догнали бы оба во рву с простреленными головами!

В этот день у меня была лекция по военной статистике в Академии Генерального штаба РККА. По плану я должен был говорить о железных дорогах Бельгии, но в связи с визитом короля Югославии во Францию задержал внимание слушателей на Балканах. Чтобы оживить скучный предмет статистики, я всегда прибегал к личным воспоминаниям, рассказывая о тихих улочках Дубровника, как одеваются женщины в Загребе, Македонии или в Цетине. Меня просили объяснить – что такое конак?

– Конак – от слова «конаковати», что значит по-сербски обитать, жить, жить. Так же называется и дворец. Кстати, – сказал я, – из окна белградского конака был выброшен король Александр с его дражайшей королевой. Только прошу не путать двух Александров: тот, что сейчас спешит на миноносце в Марсель, из династии Карагеоргиевичей, а тот, что вылетел в окно, из рода Обреновичей. Сербия не знала аристократии, потому тамошние короли имеют своими предками кого угодно, вплоть до свинопасов. Балканы этим характерны: там сын разбойника служил в полиции, а внук разбойника становился министром внутренних дел, и это никого не шокировало...

В перерыве между лекциями я навел на начальника нашей Академии, милейшего Б. М. Ш[апошников] в его кабинете. Он предложил мне билет на прием в литовском посольстве.

– Это сегодня вечером, – сказал он мне. – Москвичи не очень-то любят навещать чужеземные посольства, но обстановка в мире сейчас такова, что литовцев надо уважать...

В посольстве меня приветствовал Балтрушайтис.

– Рад видеть вас у себя, – сказал Юрий Казимирович. – Англичане подозревают, что вас уже не найти в Москве.

– А не догадались, где я?

– Говорят, большевикам пригодились ваши старые связи на Балканах, и вы уже гуляете по набережной Савы...

Не скрою, мне иногда было жаль Балтрушайтиса: видный поэт-символист, приятель Брюсова и Бальмонта, он всей душой хотел бы войти в среду наших писателей, но они явно сторонились его, ибо теперь Балтрушайтис выступал перед ними в роли посла буржуазной Литвы. Мы поговорили, и поэт был рад слышать, что недавно я с удовольствием перечитал д'Аннунцио и Гауптмана в его прекрасных переводах на русский язык.

– Все это в прошлом, – вздохнул Балтрушайтис. – Сейчас у мира иные заботы. Меня беспокоит, что Пилсудский вступил в сговор с Гитлером, а этот ненормальный альянс заострен не только против вас, но и против моего бедного народа.

– Что может сделать Пилсудский? – спросил я.

– Он считает Вильно-Вильнюс польским городом.

– А что может сделать Гитлер?

– Он считает Мемель-Клайпеду городом немецким.

– Они так считают, но боюсь, просчитаются...

Дома я прослушал белградское радио. Где-то в ослепительном море двигался югославский эсминец «Дубровник»; по его палубе, наверное, гуляет сейчас король, которого я помню еще лопухим и скромным мальчиком. Простой подсчет времени и скорости миноносца показывает, что Александр Карагеоргиевич прибудет в Марсель завтра около полудня...

А для чего мне это писать? Для чего, если мемуары пишут, как правило, только те люди, которые в чем-то хотят оправдать себя и свалить все грехи на чужие головы?

Тяжко! Пожилой человек в старой московской квартире. Возле меня нет жены, нет детей, и никогда не станут бегать вокруг меня внуки. Я одинок. Виноват в этом не я – судьба...

Не сходить ли мне завтра в церковь? Как хорошо, что в античном мире боги частенько спускались с Олимпа и жили среди людей, помогая им или карая их... Господи, внемлешь ли?

Годы берут свое. Если забылся номер телефона венской акушерки Шраат, любовницы императора Франца Иосифа, а из головы вылетела нумерация домов по правой стороне Портенштрассе в Берлине, тогда лучше сидеть дома и писать мемуары...

Новый день. Страшный день! 9 октября 1934 года.

ТАСС передал сообщение: в Марселе король Александр встречен министром Луи Барту. Мобильный эскорт выделен не был. Барту и Александр ехали в открытом лимузине старого типа, который имел вдоль корпуса широкую подножку. Международный протокол для передвижения глав правительств издавна предусматривал скорость не меньше 18 километров, а сегодня они тащились на скорости 4 километра. Из публики вдруг раздался свист – как сигнал! Убийца прыгнул на подножку автомобиля. Барту закрыл лицо руками и был тут же застрелен. Югославский король рванул дверцу автомобиля, чтобы выскочить, но точная пуля пронзила его между лопатками, раздробив позвоночник. Смерть короля была мгновенна, а министр Барту через три минуты был мертв...

Когда радио умолкло, я сидел в оцепенении.

«Неужели новое Сараево?» – спрашивал я себя.

1934 – 1914 = 20 лет. Всего двадцать лет прошло со времени того рокового выстрела, который явился предлогом для мировой войны. Мир теряется в догадках. Вечером я прослушал передачи Берлина, Парижа и Лондона – всюду недоумение. Вроде бы никто не знает – в чем смысл убийства? Полиция Марселя в момент покушения буквально размазала убийцу по мостовой, и я подозреваю – не сознательно ли его прикончили с таким неловким усердием? Я попытался настроиться на Белград, но слышимость была отвратительная... Между тем анализ политической обстановки привел меня к мысли, что следы преступления уводят в Берлин, прямо в отель «Колумбия», где ныне расположилось гестапо.

Барту совсем недавно посещал нашу Москву – и это понятно: гитлеризм уже чувствительно беспокоил Францию, а Барту смело шел на сотрудничество с Россией; к созданию «Восточного пакта» он привлекал и короля Югославии; таким образом, убийство в Марселе вполне отвечает целям политики Гитлера...

Что-то частенько стали постреливать в Европе!

Сегодня в Столешниковом переулке я нечаянно обнаружил за собой наблюдение. Если мне стали не доверять, к чему эта примитивная слежка? Неужели я, опытный агент с большим стажем работы в Европе, не замечу за собой индифферентного дяденьку в демократической кепочке? Уж кого-кого, а меня-то обмануть трудно: я шкурой предчувствую любую опасность... В свое время я отлопатил срок на Беломорско-Балтийском канале в обществе всяких пажонов: неожиданно посаженный, я неожиданно был освобожден, хотя никаких оправдательных «слезниц» к Ягоде и Сталину не сочинял, ибо считал это бесполезным занятием...

P.S. Вот еще новость! Я просмотрел «Petit Parisien», и мои подозрения подтвердились. Французская полиция в Марселе даже не удосужилась снять отпечатки с рук убийцы. Теперь

он эксгумирован. На трупе обнаружена едва заметная татуировка, якобы указывающая на принадлежность к македонским нацистам. Может, македонца спутали с усташом из Хорватии? Мне, офицеру старого русского Генштаба, который столько лет варился в котле Европы, многое сейчас подозрительно.

Ночью зарубежное радио передавало, что в конаке Белграда появился новый король – малолетний Петр II, регентом при нем назначен принц Павел Арсеньевич, мать которого сыграла такую зловещую роль в моей жизни. Стоит ли помнить об этой женщине? Лучше сберегу в памяти иной светлый образ, который растворился надо мною еще в молодости, как весеннее облако...

Ночной звонок по телефону. В трубке – молчание. Видать, кому-то захотелось узнать, дома ли я.

Вчера я был в церкви. Хорошо помолился...
Помню, как справедливо сказано у Мольера:

Было время для любви,
Остались годы для молитвы...

.....

Неожиданный вызов в особый отдел Генштаба, где меня донимали двумя каверзными вопросами:

1. Почему я еще с дореволюционных времен значусь бывавшим в 1903 году в Париже, тогда как в Париже я не был?

2. Из каких соображений я скрываю свое дальнейшее родство с королевской династией Карагеоргиевичей?

На первый вопрос я ответил, что у меня были особые причины скрывать перед царской охранкой свое отсутствие в Париже, ибо сам я тогда участвовал в кровавых событиях в белградском конаке; по второму вопросу я ответил, что моя мать была чистокровной сербкой:

– Где-то в дальнем генеалогическом колене, это правда, соприкоснулись линии предков матери с Карагеоргиевичами, которые в ту пору были, скорее, гайдуками и резали турецких янычар, еще не думая стать королями...

К этому времени Б. М. Ш[апошников] уже стал начальником Генерального штаба и депутатом Верховного Совета СССР. По его настоянию мне было присвоено звание профессора, после чего я продолжал чтение лекций по военной статистике и военной администрации стран Европы в Академии нашего Генштаба.

Б.М., поздравляя меня, весело сказал:

– Вы теперь как никогда напоминаете мне Наполеона, но уже после его побега с Эльбы. И я от чистого сердца советую вам избежать поражения при Ватерлоо...

Очередную лекцию в Академии я начал с Германии:

– Вспомним недавнее крушение немецкого экспресса у Луккенвальде с такими тяжкими жертвами. Не прошло и получаса, как к месту катастрофы собрались пожарные и санитарные машины даже с больничными сиделками – и столь быстро, будто крушение поезда было заранее в Берлине запланировано. Пусть этот факт послужит для вас, товарищи, примером административной дисциплины, какой мы, русские, к сожалению, еще не воспитали в себе. Я говорю это к тому, чтобы среди наших командиров не возникло шапкозакладательских настроений: Германия – мощное и активное государство, а с приходом нацистов к власти оно способно на самые крайние решения...

Мне возразили: Гитлер никогда не рискнет на войну с СССР, ибо Германии не выжить без поставок русского хлеба. На это я ответил, что урожайность полей Германии при высоком

развитии агрокультуры и большом количестве калийных удобрений не даст немцам умереть с голоду.

– Еще раз коснемся военной статистики! – сказал я. – Английская блокада Германии в предыдущей мировой войне себя не оправдала. Вот вам несколько цифр: в те годы каждый датчанин съедал 750 килограммов масла – в неделю, а каждый швед поглощал 800 тонн шоколада – в месяц! Теперь вам ясно, что и в новой войне найдутся подобные «нейтралы», которые, закупая товары как бы для себя, тут же насытят ими магазины нашего эвентуального противника. Не забывайте, – напомнил я, – что Швейцария уже поставляет немцам свою превосходную зенитную артиллерию, какой у нас с вами еще нету, а шведские рудники давно привыкли насыщать железной рудой крупновские домны...

Сегодня мне почему-то вспомнился Карл Гревс, любимый кайзеровский шпион. Перевобованный англичанами, этот нахал писал в своих идиотских мемуарах: «Есть три вещи, до которых моему читателю нет никакого дела. Это мое происхождение, это моя национальность и моя нравственная физиономия...» Я сейчас благостно спокоен, желая рассказать о своем происхождении, а мнение о моей морали пусть сложится само по себе на этих страницах... Для меня всегда было существенно самое главное, ради чего я жил и страдал на белом свете:

– Я, русский офицер, честь имею!

Но пусть мое имя останется неизвестным в народе. Очевидно, так надо. Мы едим хлеб насыщенный, никогда не спрашивая: кто этот хлеб посеял, кто собрал его с наших полей?

1. Прощание славянки

Я возник на этом свете вскоре после кризиса 1875 года, когда Бисмарк, ожесточив Германию легкостью побед, готовил новый разгром Франции, еще не успевшей вооружиться заново. Людям той суматошной эпохи, умеющим мыслить, было даже странно, что война не началась сегодня, они удивлялись – почему она не разгорелась вчера? И ложились спать в смутной тревоге – как бы война не грянула завтра! Мое время прошло среди кризисов, военных и политических, а моя жизнь, если к ней присмотреться, тоже сложилась из кризисов – личных и гражданских...

Теперь мертвые в гнилых гробах лежат под землей, и они много обо мне знают, а живые проходят мимо, ничего обо мне не ведая. Почему я, уже старик, без слез не могу слышать музыку старинного марша «Прощание славянки»? Ах, мама, мама! Нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в сраме постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономящего каждый полтинник жалованья.

Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать свое прошлое...

.....

Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза, за Московскою заставой Петербурга возвысились триумфальные ворота, под сень которых и вступила русская армия, принеся свободу болгарам и сербам; тогда же и проспект, идущий от Пулкова в центр столицы, был наречен Забалканским – и это историческое название, казалось, донесет до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики Российского государства...

Я ношу простую, но очень старинную русскую фамилию, называть которую не желаю, памятуя о главном:

Да возвеличится Россия,
Да сгинут наши имена!

В этом вопросе я придерживаюсь того принципа, который сверхчетко выразил германский генерал Ханс фон Сект:

ОФИЦЕРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ИМЕНИ.

Впрочем, моя фамилия внесена в знаменитую «Бархатную книгу»; читателям, которые по тем или иным причинам захотят узнать ее, советую раскрыть второй том «Бархатной книги», изданной Н. И. Новиковым в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю: род мой числится происходящим в XX колене от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвание «Оладья».

Когда я появился на свет божий, моя фамилия уже растеряла древние грамоты, никто из моего рода не занимал высоких постов в чиновной иерархии России, мы обнищали, разбазарив свои поместья по лошадиным ярмаркам и цыганским оркестрам, а потому, когда возникла «освободительная» реформа, нам уже некого было «освободить». Представителей моей фамилии можно было встретить инженерами-путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского асессора, почти всю жизнь учительствовал в петербургских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая «пришибленность» сделали из него человека сухого и желчного, и теперь я понимаю, что под этой оболочкой, не совсем-то приятной для посторонних, скрывалась правдивая и благородная душа, способная любить только один раз, что он и доказал, когда мама покинула нас – столь безжалостно и по-женски эгоистично.

Я давно заметил, что вся великая литература зиждется на гиперболах. Один славный писатель даже утверждал, будто он помнит, как его крестили. Я не могу похвастать такой памятью. Но я хорошо помню вечер над столицей и маму, держащую меня на руках. Она стоит на балконе нашей квартиры, а под нами, далеко внизу, затаилось глубокое ущелье Вознесенского проспекта (ныне проспект Майорова). Теплый воздух, выдуваясь из нашей квартиры, всплескивает над балконом паруса тиковых тентов. Совсем еще маленький, в чепчике и кружевных панталончиках, я радуюсь жизни и этому ласковому сквозняку: мне приятны обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери.

А внизу под нами – идут, идут, идут... идут!

Это русская гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры. Издалека колышется длинная полоса тысяч и тысяч колючих штыков. На балкон выходит и мой отец:

– Узнаю курносых – павловцы! А вот и преображенцы – краса и гордость лейб-гвардии, вологодские Гулливеры...

Буйствуя, ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и герани чиновных семей, качались штандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах тамбурмажоров вспыхивали алмазы, полыхали огненные рубины. А потом вдруг ударили звончатые тарелки, трубачи в бронзовых наплечниках, гарцуя на белых конях, пропели на горнах щемяще-тревожно.

– Ага! – сказал папа. – Вот вам, сударыня, и конная артиллерия – полк, в котором трубы из чистого серебра, полученные за Аустерлиц, за Бородино, за Плевну...

Шестерки могучих першеронов увлекали лафеты за повороты улиц. С тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах, и все они были в сапожках из ярко-алого хрома.

– Будто из крови вышли! – сказала мама. – Страшно...

– Апшеронцы, душечка, – пояснил отец. – У них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунерсдорфе стоял Апшеронский полк в крови по колено. Стоял – и выстоял!..

Войска прошли – наша улица разом поскучнела.

Для меня, еще ребенка, вдруг выяснилось, что рядом со мною живет нечто, осмысленное и грандиозное, расставленное по ранжиру и одинаково одетое, – что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное и очень заманчивое.

Таково мое первое детское впечатление.

Я свято сберег его до седых волос.

И верю: русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить ее нельзя.

Наверное, это и есть тот главный камертон, который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни.

Пусть я был несчастен, но это была сама жизнь...

А трагический марш «Прощание славянки» до сих пор невыносим для моего слуха, для моих нервов.

– Ах, мама, мама! Зачем ты оставила нас тогда?..

.....

По словам Ларошфуко, «ум и сердце человека так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился». Вполне согласен, и потому всегда считал себя русским. Но моя мать была сербкой, иной раз мне даже мнится, что с молоком матери я всосал в себя все тревоги и горести южных славян.

У нас дома было так принято: с няней я говорил по-русски, с бонною – по-французски, с отцом – по-немецки, с мамой – только на сербском. Со слов матери, которую звали Марицей Николовной, я знал, что через нее – через ее кровь! – я родственен сербам, носившим прозвание Депрерадовичей, Шевичей, Милорадовичей, Руничей и многих других семей, которые давно натурализовались в России; это были потомки виноделов, торговцев и пастухов, ставшие на русской службе сенаторами, генералами, дипломатами, сановниками... Однажды мама показала мне фотографию изможденного господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден Почетного Легиона.

– Запомни этого несчастного человека, – сказала она. – Петр Александрович Карагеоргиевич, внук отважного гайдука Георгия, прозванного турками «Кара», что значит – черный или страшный. А мать Петра была из рода Ненадовичей, которые очень давно породнились с Хорстичами...

Я всегда был горд за своих родичей. Это мой пращур Милован Хорстич, раненный ятаганами, с последней пулей в ружье, горными тропами – вровень с облаками! – прошел через Балканы и Карпаты, выбираясь на Русь, куда и прибыл с единственным сокровищем – маленькой Зоркой. Это случилось в 1817 году, когда Обреновичи подло убили грозного Кара-Георгия: они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали ее к Порогу Блистательной Порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Обреновичам... Я был еще мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Обреновичей.

– Когда вырастешь и станешь умнее, никогда не прости Обреновичам вероломства, как не простила и вся Сербия...

Первые песни, которые я слышал, были «лбзарицы» матери, в которых не слышалось слов о любви и радости, зато всегда воспевались народные герои, павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною наизусть, были стихами Пушкина:

Черногорцы? Что такое? —
Бонапарте спросил. —
Правда ль, это племя злое
Не боится наших сил?..

Мама рассказывала мне, как отличить серба от черногорца:

– Серб обстоятелен в поступках, его поступь даже величава. Черногорец же весь насто- роже, всегда готовый выхватить из-за пояса пистолет. Полтысячи лет они держались на Черной Горе в изоляции от мира, зато отстаивали свободу...

Но каждый год – в день 28 июня – мама погружалась в печаль. Это был день святого Витта, день национальной скорби славянского мира. 28 июня 1389 года на печальном Косовом поле, что лежит между Боснией и Македонией, турецкие орды сломали мощь Сербии, и с того дня началась ее новая история – история борьбы за свободу... Я помню даже слова матери:

– А когда полегли витязи на Косовом поле, храбрый Обилич прокрался в шатер турецкого султана и зарезал его кинжалом. Обилич умер под пытками, но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день святого Витта, сербы называют его Видовданом, и этот день стал для нас днем траура...

Поражение сербов на Косовом поле стало так же близко моему сердцу, как и победа русичей на поле Куликовом! Но мог ли я тогда думать, что именно в такой Видовдан выстрелы огласят Сараево, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску святого Витта, стуча зубами от страха. Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своем романе о бравом солдате Швейке:

– Убили, значит, Фердинанда-то нашего... Укокошили его в Сараево. Из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней...

Отец выписывал для чтения газеты «Фигаро» из Парижа и злую «Тетку Фосс» из Берлина, а мама читала журнал «Славянский мир», я часто заставлял ее с номером «Славянских известий» в руках, плачущую. Мне запомнились дни, когда Россия чествовала память Кирилла, соратника Мефодия, в 1889 году отмечалось пятьсот лет со дня Косовой битвы. В годы моего детства Петербург часто объявлял дни «кружечных сборов», когда по квартирам ходили студенты и курсистки с кружками для сбора подаяния. Помню, мама жертвовала дважды – в помощь Черногории, пострадавшей от неурожая, и на устройство детских школ в Сербии... Не только она! В кружку опускали свои медяки прохожие, солдаты, дворники, ибо мир славянства казался всем нам единым домом, только жили мы под разными крышами.

.....

Никак не могу объяснить, почему мой отец, потомственный русский дворянин, стал отчаянным германофилом, поклонником философской мысли старой Германии, почему он с удовольствием беседовал по-немецки; отец считал Германию чуть ли не идеальной страной, и я не раз слышал от него:

– Немцы любят порядок. У них попросту невозможны такие несуразности, какими пре- исполнена жизнь в России...

От папы же я слышал и такие сентенции:

– Француз работает ради славы, англичанин изо всего старается извлечь прибыль, и только немцы делают свое дело ради самого дела. Оттого и продукция Германии – лучшая в мире.

– А ради чего надрываются русские? – спросил я однажды.

– Русские? Они и сами того не ведают...

Замкнутый ипохондрик, гораздо старше матери, отец жестоко страдал от приступов ревности, никогда не ожидая от жизни ничего хорошего, всегда готовый к злоключениям судьбы. Не знаю, чем он мог прельстить мою мать, но, кажется, я возник на свет против ее желания, явившись жертвой несчастного союза. Быстрое старение отца, женский расцвет мамы, пылкой и страстной, привели к тому, что бес ревности стал вроде домового в нашей захламленной квартире. Я не раз засыпал вечером под аккорды семейного скандала и просыпался среди ночи – от новых скандалов. Как это ни странно, папа с мамой заключали перемирие, когда возникал насущный вопрос о мерах воздействия на меня: отец с большим воодушевлением восхвалял достоинства своего ремня, мама нежным голосом ворковала о великом воспитательном значе-

нии классической розги, а бонна, не теряя времени даром, упражнялась в выкручивании моих ушей.

Конец нашей семьи был, кажется, запланирован свыше...

Как и все южные славянки, мама была натурою своевольной и экспансивной, живущей порывами души и сердца. Однажды, когда мы поселились на даче в Красном Селе, она вдруг пропала и вернулась через день, покорно-молчаливая, с затаенной улыбкой на тонких губах. Не желаю вникать, что случилось меж моими родителями, но квартира вдруг наполнилась лубяными коробками для шляп, в большие кофры укладывали туалеты мамы...

Поймите мое детское горе – мама уезжала!

Настал судный день. Мне уже не забыть сводов вокзала, прокопченных паровозами, поныне вижу таблички на зеленых вагонах: «С.-ПЕТЕРБУРГ – ВАРШАВА». Не знаю, какое невыносимое, какое преступное счастье ожидало маму в этой Варшаве, но в день расставания была она радостна, как весенний жаворонок. Отец скорбно молчал, а мне хотелось кричать: «Мама, не бросай нас... мама, не уезжай!» На прощание она, стройная и красивая, обнажила руку из перчатки, погладила меня по щеке.

– Будь умницей, – сказала мама. – И слушайся папу...

В тесном жакете с золотыми пуговицами, она поддержала тяжелый подол турнюра, смело шагнула в двери вагона.

Поезд медленно тронулся. Отец громко зарыдал.

Колокола петербургских храмов звонили к вечерне.

Стали приходить письма – все реже и реже. Только первое из Варшавы, потом я разглядывал казенные штампы Рима, Вероны, Праги, и наконец письмо последнее – из Фиуме... Мама навсегда растворилась в непонятном, но красочном мире, а я остался со скучным отцом в пустой громадной квартире.

Где же ты, сербская гордячка? Ах, мама, мамочка!

Не грешно ли было тебе покидать бедного учителя и так жестоко забывать русского мальчика?

Потом в газетах промелькнет сообщение, что Обреновичи казнят и сажают в тюрьмы патриотов Сербии; в числе многих узников однажды вспыхнет, как искра на ветру, имя моей матери.

Но это случится гораздо позже, когда я уже не боялся ни мрака, ни чертей, ни сказок про Кашея Бессмертного.

Память снова возвращает меня в тускло освещенные казармы Дунайской дивизии, где я впервые повстречал балканского карбонария по кличке Апис...

О боже! Как все переплетается в этом подлунном мире, и я до сих пор ужасаюсь:

– Почему я тогда уцелел? Даже не верится...

Наверное, здесь будет уместно рассказать о той пакостной обстановке, какая царил в белградском конаке.

2. Драки в конаке

Югославии тогда и в помине не было... Но возле Сербии расположились Босния, Герцеговина, Далмация, Хорватия, Словения, Воеводина, Истрия и независимое княжество Черногория. К единению их обязывала историческая, этническая и языковая общность балканских народов. Но создание такого обширного государства славян (каким позже и стала Югославия) не могли допустить ни султанская Турция, ни кайзеровская Германия, ни далекая Англия, ни близкая Австрия, ибо славянское возрождение обязательно станет союзно России, а царь не замедлит получить базы для своего флота в Адриатическом море.

Главным же врагом славян на Балканах была габсбургская Вена, уже наложившая свое гербовое клеймо на Боснию и Герцеговину. Чтобы задобрить славян, Габсбурги заливали улицы в Сараево асфальтом, они пустили по рельсам трамвай, но... бойтесь данайцев, дары приносящих! Белград стоял у самого слияния Дуная с Савой, с австрийского берега крепостные орудия Землина держали столицу Сербии на постоянном прицеле...

Турки прозвали Белград «Вратами священной войны», их зеленое знамя Пророка было спущено над столицей Сербии лишь в 1876 году, когда сербы, заодно с Россией, объявили войну за свободу славян. И сербы никогда не забывали об этом:

– Поговорим, друже, по-русски, – стало для них паролем.

Все было бы хорошо, если бы не династия Обреновичей!

.....

Милан Обренович родился через 13 месяцев после смерти отца, но никто в королевстве не смел сомневаться в его законном происхождении, ибо его мать серьезно утверждала:

– На то я и королева, чтобы у меня было все не так, как у других женщин. Допустим, немножко запоздала с родами... Так и что с того? У меня просто не было времени родить к сроку.

Начиная с короля Милана династия Обреновичей стала позором для Сербии – при Милане были замучены тысячи патриотов, а страна обрела 255 миллионов государственного долга. Сам же король цинично признавался перед придворными:

– Едим прошеное, носим брошеное, живем краденым...

Мародер, хвастун, спекулянт, пьяница, игрок, предатель народа, распутник, трус и, наконец, он же генералиссимус великой Сербии – таков далеко не полный перечень криминальных заслуг короля Милана Обреновича!

Хроника династии Обреновичей – хроника скандальная.

Милан отыскал жену для себя в Одессе: красивая Наталья Петровна Кешко, дочь русского офицера, стала королевой сербов. Не станем преувеличивать ее «русофильство», ибо женщина, оскорбленная в своих чувствах, поступала чисто по-женски: она примыкала к той партии, которая осуждала ее мужа, а муж выдвигал в министры подхалимов, которые обливали грязью его жену-королеву. В таких-то безобразных условиях был зачат сын – Александр Обренович, которому лучшие психиатры Европы с детства предсказали очень быструю карьеру дегенерата.

Стрельбу по Милану начали женщины-патриотки, и две из них, Елена Маркович и Елена Кничанина, были задушены косынками в тюремных камерах. Сербия волновалась. Покои белградского конака король уже превратил в лупанарий; среди множества авантюристок одна только греческая гетера Артемизия брала из казны столько золота, сколько бережливым сербам и во сне не снилось. Все народные восстания Милан подавлял с жестокостью, напоминаяшей прежние ужасы правления турецких султанов. Земля уже горела под ногами Милана, но пожарную команду он вызвал из Вены! В 1883 году король, втайне от Народной Скупщины и министров, вступил в сговор с Габсбургами, обещая им не претендовать на Боснию и Герцеговину, за что Вена сулила Милану беречь его престол от покушений народа и притязаний Карагеоргиевичей. С этого времени на смену турецкому угнетению пришло угнетение немецкое: Австро-Венгрия сделала из Сербии нечто вроде своего протектората. Покорить Сербию венские Габсбурги вряд ли были способны, но они подчиняли ее своему грубому диктату, чтобы Сербия стала придатком Австрии – и политически и экономически. Милан Обренович грабил не только свой народ – к его услугам Габсбурги нарочно открыли сейфы венского Zander-Bank'a, закабалая сербов займами.

Милан предал свою страну! Вместо того чтобы крепить славянское единство, он – по наущению Вены – втравил сербов в войну с Болгарией, и болгары в битве при Сливнице разгромили Милана, после чего он, побитый, и присвоил себе чин «генералиссимуса». Между тем

скандалы в королевском семействе перешли в настоящие драки – король валтузил королеву, королева лупила короля. Желая оторвать сына от беспутного отца, Наталья хотела спровадить Александра в Одессу, а Милан утверждал, что и сам воспитает сыночка – какого надо! Наконец семейные свары в конаке увидели улицы Белграда; прохожие отбили королеву от короля, ибо никакой серб не выносит унижения женщины. Избитую до крови королеву спрятали от мужа в ближайшей пиварне, вмешалась полиция, но горожане побили и полицию; Милан вызвал войска – и мостовые Белграда окрасились кровью... А пока на улицах дрались, наследник престола играл в кегли!

Наталья обратилась с «меморандумом» в Скупщину:

– У меня больше нет сил скрывать слезы улыбкой, и вы сами видите, что муж способен погубить королевство...

Милан объявил брак с нею расторгнутым. Но вся эта мерзость конака, выплеснутая на страницы европейских газет, окончательно уронила престиж короля, и Милан был вынужден отречься от престола – в пользу сына-мальчика.

Но при этом он еще продолжал угрожать народу:

– Могу и совсем уехать, если дадите мне миллион...

Иначе говоря, король требовал с народа взятку. Патриархальная страна по грошику собрала для него деньги – только бы он убрался ко всем чертям и больше не осквернял их своим поведением. Милан получал «пенсию» и от сына, но все проигрывал – в рулетку или на скачках, продолжая шантажировать Скупщину:

– Не дадите денег – снова вернусь в конак!

Сербия платила. Милан опубликовал в Европе заявление, что он не душил женщин, покушавшихся на него, – их душил сам министр внутренних дел Милутин Гарашанин. Гарашанин тоже выступил в печати: «Как я мог их душить, если в это время меня не было в Белграде?» Тогда Милан стал оправдываться:

– Наверное, их задушил пьяный начальник тюрьмы...

Наконец сербам надоело оплачивать долги короля.

– Хватит с него! – заявили в Народной Скупщине.

Но от Милана не так-то легко было избавиться.

– Еще один миллион франков, – требовал он. – Я продулся в Монте-Карло, и мне срочно следует отыгаться...

В 1894 году король неожиданно вернулся в белградский конак, чтобы управлять страной из-за спины своего безвольного сына. Теперь Вена распоряжалась в Сербии, как в своей вотчине. В 1899 году, желая вызвать террор в стране, Милан спровоцировал покушение на самого себя. Именно тогда, в самый разгар бесчеловечных репрессий, наш писатель В. А. Гиляровский разоблачил перед Европой злодейские козни этой семейки!

Русская дипломатия вняла голосу писателя, и Петербург в грозном ультиматуме потребовал от Милана немедля освободить арестованных патриотов... Сербы говорили:

– Спасибо России! Если б не наши друзья-русские, всем бы нам сидеть в тюрьме «Главняча», всем бы нам таскать в цепях тачки на Пожаревацкой каторге. Спасибо и друже Гиляровскому, который не испугался наших драконов...

На этот раз Милан собрал манатки и навсегда покинул страну. Он скончался в Вене, но император Франц Иосиф не выдал его праха, и негодяй с титулом «его величество» был зарыт в австрийской земле. Так часто бывает, что самых верных лакеев господы хоронят подле своих фамильных усыпальниц.

Милана хорошо изобразил сербский писатель П. Тодорович в своем романе с характерным названием – «Долой с престола!».

.....

На престоле остался его сын Александр, описанный Альфонсом Доде в его знаменитом романе «Короли в изгнании».

С явными признаками дегенерации на пасмурном челе, хмурый и некрасивый, коротко остриженный, словно прусский кадет, с очками на мутных беспокойных глазах, молодой Обренович блуждал по темным залам конака – слабосильный деспот в окружении всемогущих деспотов-министров. Он не раз говорил:

– Я хочу любить и хочу быть любимым...

Еще мальчиком он привык сидеть на коленях фрейлины своей матери – это была вульгарная Драга Машина, урожденная Лулевац. Драга качала толстого кретина-ребенка, еще не думая, что из него получится. А получился король! И, став королем, Александр навещал Драгу в ее доме на окраине столицы. Адъютант Лазарь Петрович, сопровождавший короля, однажды не вытерпел и сказал, что сюда же возил и... короля Милана!

– Я это знаю, – отвечал Александр, – но знай и ты, что Драга станет твоей королевой, а потому... лучше молчи.

Сербы-эмигранты писали в газетах Парижа, что якобы Драга и спровадила Милана на тот свет чашечкой крепко заваренного кофе. Это похоже на правду, ибо в сомнительных случаях, подозревая в ком-либо врага, Драга подмигивала королю:

– А не заварить ли нам для него кофе покрепче?

Наталья Кешко, почуяв неладное, убралась в Биариц; опустевшие покои конака заняли братья Драги – молодые офицеры Никодим и Николай Лулевацы; теперь уже не Милан, а семья Лулевацев всосалась в народ Сербии, насыщая его кровью и золотом. Но король Александр очень любил Драгу, и вскоре женщина была объявлена королевой (так что недаром она качала его на своих коленях!). Александр в тронной речи публично объявил, что Сербия скоро может поздравить его с престолонаследником, и только теперь придворные заметили, что Драга имеет большущий живот... А жители Белграда уныло рассуждали:

– Видать, от этих Обреновичей не избавиться! Ну кто бы думал, что у такой потасканной суки еще приплод будет?

Лучшие акушеры Вены и Петербурга, вызванные в Белград, ничего не понимали: живот у королевы растет, но в организме не обнаружить даже слабых признаков беременности. Этот конфуз дал богатую пищу для карикатуристов Европы, но через год Александр снова заявил с высоты престола, что положение легко исправить, – и объявил наследником в конаке брата королевы Никодима Лулеваца. В пиварнях и кафанах негодовал народ:

– Мало нам Обреновичей, так теперь сядут на шею Лулевацы, которые даже усомниться не могут, а ездят для этого в венские цирюльни. Что от них ожидать доброго, если их мать была пьяницей, а отец не вылезал из сумасшедшего дома?

Александр Обренович за время своего правления сменил 24 правительственных кабинета; заодно с министрами вылетали писаря, швейцары и подметалы. Конак кишел австрийскими агентами, а венский посол Думба стал лучшим гостем короля. Бедная страна, уже ограбленная, стала кормушкой для Австрии, и без того пресыщенной; теперь Габсбурги без стыда и совести выгребали из Сербии зерно, виноград, шерсть, свинину с бараниной, чернослив, коринку, орехи, фанеру и кожи...

В это же время Петр Карагеоргиевич, проживая в изгнании, не раз делал заявления для печати, что от притязаний на сербский престол не отказывается: «Я вернусь в конак Белграда, когда обстоятельства призовут меня...» Он часто навещал Петербург, где имел немало друзей и где два его сына учились – один в Пажеском корпусе, другой – в Училище Правоведения.

А в казармах Белграда служил мрачный поручик Драгутин Дмитриевич – по кличке Апис, и для него все короли на свете были дешевле базарной репы.

3. Чижик-пыжик, где ты был?..

Психологи давно доказали, что обширные помещения действуют на детей бодряще, побуждая их к активному настроению, и, напротив, тесные комнатенки с низкими потолками делают их вялыми, пассивными и сонливыми. Я благодарен высоким потолкам нашей квартиры, под сводами которых моя неукротимая фантазия уводила меня в иной мир. Наслушавшись сказок от няни и героических «лазариц» матери, я представлял битвы с драконом, который, истекая зловонной кровью, был однажды побежден мною, и его зазубренный, как пила дворника, громадный хвост исчезал в черном проеме ночного окна... Не он ли, этот дракон, и был выброшен потом из окна белградского конака?

Мне было лет восемь, когда отец сказал:

– Я хочу поставить тебя на ноги, чтобы затем не пришлось краснеть за себя. Одно дело – песни матери, но ты обязан помнить и девиз нашего рода: «ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ...»

Суровейший ригорист, он никогда не баловал меня, за что я позже остался ему благодарен. Я учился сначала в Annen-Schule, славной отличным преподаванием иностранных языков. Учиться я очень любил. И по утрам первым делом бежал к окну, дабы увидеть – какие знаки вывешены на пожарной каланче; если на фоне неба виднелись черные шары, это значило, что мороз перевалил за тридцать градусов, все гимназисты и гимназистки могли радостно хлопать в ладоши, ибо в такие дни занятия прекращались, но для меня морозные дни оборачивались ничегонеделанием, которое я ненавидел. Анненской школе я благодарен – учили замечательно. А владение языками привило мне вкус к человеческой речи вообще: я всегда с охотным любопытством вслушивался в разговоры татар-старьевщиков, в таинственный шепот менял-евреев, в звонкую перебранку чухонки-молочницы.

Единственное мотовство, какое позволял отец, – это субботние походы в бани г-на Мальцева. Отцу, наверное, казалось, что мальчик получит невыразимое удовольствие, если его чисто вымоют. Самый дешевый номер у Мальцева стоил 20 копеек, а самый дорогой – 6 рублей (в этом случае для мытья предоставлялась целая анфилада комнат с услугами банщиков и массажистов). Мы с отцом всегда мылись за 40 копеек в общем бассейне. Стены мальцевских бань были крыты корабельной обшивкой, а полы там заливал шершавый цемент. Убранство было в стиле древней Помпеи, из пены фонтана грациозно выступала мраморная Афродита, с нескромной улыбкой глядя на тощих санитаров и жирных купцов первой гильдии. Иногда под полом бань включали особую машину, отчего в бассейне начинался «шторм», как в море. Мне это безумно нравилось. Отец никогда не спрашивал, хочу ли я идти в баню, он просто брал меня за руку и отводил к Мальцеву. Так же никогда не интересовался, кем я хочу быть. Когда пришло время, отец деловито взял меня за руку и без лишних разговоров повел за собою, как водил и в баню.

Я оказался на Большой Монетной улице (ныне улица Скороходова), в глубине садов которой размещался Лицей, переведенный сюда из Царского Села в 1837 году – трагическом году гибели Пушкина. Но, увы, попасть в когарту «славных» мне не довелось: записи предков в «Бархатную книгу» оказалось маловато, желательно иметь тетюшку в статс-дамах или дядюшку камергером. Тут впервые в жизни я ощутил уязвленность своего самолюбия.

– А как же Пушкин? – говорил я весь зареванный. – Почему Пушкина в Лицей приняли, а меня не захотели?

– Ты не Пушкин и потому помалкивай, – отвечал отец, забирая меня с Монетной улицы, и повел на Фонтанку...

Здесь, напротив Летнего сада, издавна размещалось длинное, издали похожее на конюшни, некрасивое здание «Императорского Училища Правоведения» (в быту петербурж-

цев именуемого кратко – «Правоведение»). По преданию, когда-то на этом месте был манеж герцога Бирона, позже размещалась военная канцелярия графа Баркляя-де-Толли, проживал тут и граф Сперанский, немало хлопотавший за образование школы русских юристов.

Вот сюда, в этот угрюмый дом, меня и поместили – словно пихнули в бассейн с холодной водой, и я вскрикнул от испуга, но было уже поздно. Кажется, была как раз суббота. Отец пошел в баню – на этот раз без меня. Я выразил свой протест тем, что притворился, будто не умею говорить по-русски, а только на языке сербов... Меня вздули! Трудно передать мое детское горе, когда я очутился в дортуарах пансиона для казеннокоштных. Экзекутор из немцев лишил меня «бульки»:

– Глуп мальшик, нет булька, зачем три раза сдох?

На русском языке это значило: я лишуюсь булки за то, что осмелился три раза подряд печально вздохнуть. По просьбе отца, снисходя к его доходам, меня зачислили на казенный кошт, почему я, выпущенный из «Правоведения», обязан шесть лет жизни посвятить служению при шатких весах Фемиды. А хочу ли я быть юристом – об этом меня никто не спрашивал...

Мораль среди будущих законников не радовала!

Младшие классы обязаны подчиняться старшим. Подросток намазывал горчицей кусок хлеба и указывал мальчику:

– Изобрази удовольствие!

И тот ел, плача.

Юноша, курящий папиросу, повелевал подростку:

– Зверь, тащи сюда пепельницу!

И тот покорно вытягивал раскрытую ладонь, в которую стряхивали горячий пепел...

Существовало и невидимое для начальства разделение на плебеев и аристократов. Все время вспыхивали драки, богатый унижал бедного, сильный побивал слабого. В дортуарах Училища случались и массовые побоища, когда один класс рукопашничал с другим, – все это мало говорило о пользе будущего «законоправия империи». Я не любил драться, но горячая кровь матери побеждала флегму отцовского характера, и потому не раз ходил с «фонарем» под глазом. А инспектор классов, человек очень грубый, донимал нас хамскими выкриками: «Кво вадис, инфекция?» (что в переводе с божественной латыни на язык родных осин значило: «Куда прешь, зараза?»).

Здесь мне предстояло учиться целых семь лет!

Попав в казеннокоштный капкан, я все-таки нашел в себе сил, чтобы покориться обстоятельствам, и учился очень хорошо. Меня выручало умение сосредоточиться, когда это было нужно. Внимание человека – это ведь обычный приток крови к головным центрам его мозга, здоровью это никогда не вредит, и я никогда не боялся излишне напрягать свою сообразительность, а память у меня была превосходная.

Отец изредка навещал меня, каждый раз одаривал жалким фунтиком сушеной малины.

– У меня нет шестисот рублей, чтобы платить за тебя, как за «своекоштного», и потому радуйся, что здесь кормят четырежды в день, давая на обед даже бифштексы с поджаренным луком, за это ты должен только учиться, – внушал мне папа.

Ну что ж! «Лучше быть, чем казаться».

Впоследствии, когда я сидел над планами Шлифена о нападении Германии на Россию, в его наказе германскому генеральному штабу меня потрясли такие же слова: «Больше быть, чем казаться, много делать, но мало выделяться...»

Не правда ли, какое странное совпадение?

.....

Лицейсты гордились именами Пушкина и Дельвига, канцлера Горчакова и сатирика Салтыкова-Щедрина, зато в «Правоведении» часто поминали поэта Апухтина и критика Стасова; отсюда, из этого несуразного дома-конюшни на Фонтанке, вышли наши прославленные ком-

позиторы – Серов, Чайковский и Танеев, а позже прогремел на весь мир великий гротескмейстер Алехин.

Остальные же правоведа, не обладавшие «искрой божией», выходили на избитый проторенный путь: они метали с амвонов судилищ перуны смертных приговоров, из казенных канцелярий огненные рысаки увозили их в гудящие хмелем рестораны, они кутали в меха плечи драгоценных красавиц...

Конечно, никто не обучал нас ни цинизму жизни, ни умению «рвать» с несчастных бешеные гонорары. Напротив, в нас усердно втемяшивали идеалы гражданской добродетели. Впрочем, у меня хватило ума, чтобы заметить главное: формируя будущих законников для обиходных нужд империи, начальство старалось отливать нас по единому стандарту, как отливают поковки в кузнечном цеху. Все мы были тщательно отнивелированы до общего уровня, необходимого для усердных и верноподданных чиновников, – не более того! В один и тот же день нас заставляли стричь ногти, мы одинаково причесывались, одинаково грассировали в разговоре и одинаково танцевали. Таковы были «чижики», как называли правоведа в петербургском обществе за наши форменные мундиры желто-зеленого колера. Отсюда, кстати, и произошла дурацкая песенка, в которой указан наш адрес:

Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове...

Это про нас! Ибо среди будущих стражей народной нравственности издавна было развито потаенное пьянство и самые отвратительные пороки, известные с библейских времен Содомы и Гоморры. Ваш покорный слуга тоже не миновал греха винопития, в чем и сознаюсь с глубоким раскаянием. Но было бы несправедливо сейчас, на склоне лет, швырять камни в огород, вскормивший мою юность. Дольше остаюсь благодарен Училищу Правоведения, развившему мой разум до понимания даже юридической казуистики, необходимой в сложнейших вопросах жизни – кто прав, а кто виноват? Профессура была у нас лучшая в столице, экзамены мы сдавали сразу на четырех-пяти языках.

Потом, когда мы подросли, наши головы основательно загрузили науками специальными, как-то: финансоведение, история религии, философия права, судебная медицина и прочее. Нам читали всякие «права» – церковное, римское, гражданское, торговое, международное, государственное, тарифно-таможенное, морское и полицейское. Когда же мы вступили в пору цветущей юности, нас возили в анатомический театр с его тошнотворной изнанкой жизни. Желавшие могли дежурить в полицейских участках, чтобы выезжать на места преступлений. Профессура не скрывала от нас, что «преступность – это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни». Мы часто посещали судебные процессы, на которых разбирались громкие дела, связанные с убийствами, подлогами, растлением малолетних. Иногда мы работали в архивах кассационного департамента Сената или в министерстве юстиции, где нам «давали для ознакомления запутанные дела, которые со времен Екатерины Великой никому не удалось разрешить. Помнится «дело о волчьих хвостах, оказавшихся собачьими», мы потешались над «делом о неуместном употреблении латинских цитат при объявлении смертного приговора». Но однажды мне попало в руки «дело о желудочно-половых космополитах в Тамбовской губернии». Что это такое – не знал тогда, не знаю теперь и никогда не узнаю...

У меня уже заметно пробились усы, а бедный папа по-прежнему угощал меня сушеной малиной.

– Малина полезна во всех случаях, – говорил он, правильный человек, правильные истины. – Особенно во время простуды.

– Да, папа, спасибо тебе, – отвечал я.

Признаюсь, я рано почувствовал, что сел не в свои сани, а одна случайная фраза, вычитанная у Лютера, довершила все остальное: «Чему учат в высших школах, – писал Лютер, – как не тому, чтобы все были дубинами и олухами?»

Будущее юриста меня никак не радовало, даже отпугивало, а жизнь – сама жизнь! – уже приманивала к себе ароматами духов, шелестом женских юбок и гамом вечерних ресторанов.

Я и сам не заметил, как превратился в мрачного юношу, мучимого ранними страстями. Понимая, что ни Апухтиным, ни Чайковским не стану, я не прельщался и адвокатской практикой, столь модной в ту пору, ибо пафос речей адвокатов зависел от ценности гонорара, который они получали от «обиженного».

Но при этом, во многом сомневаясь, я продолжал хорошо учиться, за что и приобрел «стипендию принца Ольденбургского».

– С такими успехами, – радовался отец, – ты можешь рассчитывать на завидное положение в министерстве юстиции.

– Да, папа, – соглашался я, не соглашаясь с ним...

С 1896 года для правоведа было введено обучение боксу, который преподавал француз Лустелло, имевший в Париже звание чемпиона. От занятий боксом меня отвлекло вмешательство театра. Меня уже тогда занимало перевоплощение человека на сцене: посредством грима и живости физиономии я умел изменять свой облик, и однажды на любительском спектакле, в присутствии корифеев русской сцены, даже заслужил похвалу Марьи Гавриловны Савиной... Любительское актерство пригодились!

В аудиториях «Правоведения» разыгрывались настоящие драмы судебных заседаний – с преступниками, прокурорами, лжесвидетелями, роли которых импровизировали мы сами, будущие юристы. Иногда требовалось немало сноровки и хитрости, чтобы выпутаться из придуманных тут же – по ходу процесса – сложных юридических ситуаций. Я любил брать на себя роль подсудимого, скоро обретя славу ловкого и закоренелого «преступника», которому не требуется даже услуг «адвоката».

Так проходило мое время, а вечерами, прильнув к окну, я с нескромной завистью наблюдал, как за Фонтанкою, в зелени Летнего сада, разгораются цветные фонарики, под сводами «раковин» играют румынские оркестры, фланируют почтенные жуиры и кавалергарды, под купами старинных деревьев живописно группируются легкомысленные дамы света и полусвета...

Что я знаю об этой жизни? И что эта жизнь знает обо мне, маленьком и некрасивом юнце с острым неприятным профилем молодого и замкнутого в самом себе Бонапарта?

В один из дней меня вызвал инспектор Училища, генерал Василий Васильевич Ольдерогге, и представил мальчика:

– Это Александр, сын Петра Карагеоргиевича, проживающего в Женеве на положении изгнанника. По просьбе претендента на сербский престол он будет учиться у нас. Проследите за ним как старший товарищ. Сирота без матери будет рад, если вы, знающий его родной язык, поможете ему в учебе...

Сколько лет прошло с того дня! Зимой мы выбегали на лед Фонтанки и лепили снежки, весной я гулял с Александром по островам русской столицы, угощая его мороженым и квасом, и, конечно, не мог же я знать, что он, тихий и послушный ребенок, станет королем Югославии, а потом рухнет на улицах Марселя под пулями хорватского бандита. Но теперь-то я понимаю, что этот мальчик, поедающий мороженое, купленное на мои жалкие деньжата, наверняка расстрелял бы меня в Салониках, попадись тогда я в его королевские руки...

В эти годы – на переломе веков – русские журналисты вполне серьезно, без тени улыбки на лицах, писали, что дуалистическая Австро-Венгрия – это двуединая монархия, которая с

одной стороны омывается чистыми водами Адриатического моря, а с другой стороны она усиленно загрязняется старым императором Францем Иосифом. Если тогда о Турции дипломаты говорили как о «большом человеке Европы», то габсбургская империя в их беседах подразумевалась не иначе как «давно съеденная червями». Так было. Многое тогда было...

.....

Неожиданно вспомнилось. В доме своих дальних сородичей я однажды повстречал знаменитого юриста Владимира Даниловича Спасовича, когда-то профессора уголовного права, учебник которого был запрещен цензурой. Старик был известным теоретиком научной криминалистики, но удивлял современников разносторонностью своих познаний и много писал – о Гамлете, о дружбе Шиллера и Гёте, Пушкина и Мицкевича, о байронизме Лермонтова. Теперь он рассказывал о своем путешествии по Далмации, Боснии и Герцеговине – и столь же ярко, как писал Пьер Лоти о странах Востока. Внимая ему, я тогда уже уразумел, что на Балканах издревле затаился какой-то неведомый и волшебный мир, едва схожий с тем миром, о котором пелось в «лазарицах» матери.

Сейчас мне трудно воскресить подлинные слова Спасовича, и, чтобы оживить свою память, я нарочно перелистал III и IV тома собраний его сочинений, где он описывает свои впечатления, ставшие моими... Так уж получилось, что из гостей мы вышли на улицу вместе, помню, сыпал нудный осенний дождик. Спасович любезно предложил отвезти меня до дому в своей коляске. Прощаясь, он дружелюбно предупредил меня:

– Мой юный правовед, еще в мундире «чижика» вы обязаны заранее предрешить благородство юридической стези, избранной вами. Как бы вы ни изучили законы, вы всегда остаетесь для народа в роли сатрапа и палача, если не станете руководствоваться правилами священного гуманизма.

Я честно признал, что освоение законов империи давно не тешит моего сердца, напротив, я все более отвращаюсь от юридической службы, с ужасом думая о своем будущем:

– Я очень хочу жить в будущем, но еще не знаю – как жить, что делать, куда идти, где поворачивать... Я читал ваши речи в судах и, простите, не вижу пользы от них, когда вы добела отмывали заведомо черное, достойное сурового наказания.

Вряд ли слова мои были приятны старому адвокату.

– С такими настроениями, – ответил Спасович, – вам, милейший, лучше оставить правоведение. Кто-то один из нас глупее – или вы, вступающий в жизнь, или я, покидающий ее юдолю. Если вам не нравится ваш путь, так пытайтесь проторить новый, а я с высот горных посмотрю, что из вас получится...

Я не хотел обидеть старика, но, кажется, обидел. А его рассказы о южных славянах глубоко запали мне в душу, и я уже видел себя на Балканах... Кем? Просто русским другом, а иной роли для себя я не мог придумать.

4. В пещерах жизни

В моем сознании, еще довольно шатком, афоризм Лютера стал перекликаться с известным заветом критика Писарева, который я твердо вы зубрил наизусть: «Кто дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что настоящее образование есть только самообразование и что оно начинается только с той минуты, когда человек, распроставшись со всеми школами, делается полным хозяином своего времени и своих занятий».

Я заметно охладел к занятиям в Училище, загружая свою голову неустанным чтением книг по разным вопросам – от зоологии беспозвоночных до выводов Канта и Гегеля. Повзрослев, я начал испытывать молодое горячее нетерпение: «Как? Прожито почти двадцать лет, и за это время я не только ничего не создал полезного, но даже ничего не разрушил вредного...»

А что я мог разрушить? Только самого себя.

Перейдя в высший класс Училища, я обрел право носить шпагу, при мундире я надевал парадную треуголку.

Но, выходя в свет, сначала угодил в потемки...

Давно все растеряно! Я лишился в жизни четырех библиотек и собрал под старость пятаю, я не раз мог сломать себе шею, но каким-то чудом уцелела у меня вот эта карточка:

ЖОЗЕФ ИППОЛИТОВИЧ ПАШУ

ЗАХОДИТЕ, ВСЕХ ПРОШУ!

Загородный, 26. Тел.: 2496

Только виноградные вина!

Мне даже самому интересно теперь писать об этом.

А все началось с венка – для покойника...

.....

XIX век заканчивался. Эйфелева башня в Париже уже была признана высочайшим сооружением мира, на улицах столиц появился бензиновый угар первых автомобилей, в квартирах зазвенели телефоны, публика спешила по вечерам смотреть «фильму», наконец, в домах возникло и паровое отопление...

Так что прогресс человечества не топтался на месте!

Россия энергично сближалась с Францией, она расходилась с Англией и побаивалась союза Германии с Австрией, но почему-то совсем не пугалась Японии; Нансен блуждал тогда в полярных просторах; в Афинах возродились забытые Олимпийские игры, граф Цеппелин создавал дирижабли, в Гааге открылась международная конференция о всеобщем разоружении, после чего все страны начали усиленно вооружаться... Германский император Вильгельм II даже не скрывал своего боевого азарта:

– Этот фокус в Гааге придумала Россия, но пусть в Петербурге не думают, что я покидаю в море свои пушки, лучшие в мире, и пусть русские торчат в Маньчжурии, а в Европе они всегда получают от меня коленом под зад...

Я вспоминаю. Однажды из газет правоведы известились о кончине престарелого актера С., одинокого человека, угасшего в номерах Пале-Рояля, давнем притоне художественной богемы столицы. Мы собрали деньги на венок артисту, мне выпал жребий отнести его на Пушкинскую улицу. Был, помнится, очень жаркий день, все плавилось в зное булыжных мостовых. Венок (кстати, громадный) оказался старым, пока я тащил его на себе от Фонтанки, он осыпался так, что по его шелухе можно было проследить весь мой путь от «Правоведения» до Пале-Рояля.

Я долго мыкался среди номеров, где по коридорам слонялись непризнанные гении и спившиеся трагики, просто неудачники и писательская мелюзга, не способная отличить гранок от верстки. Наконец франтоватая ведьма, украшенная под глазом дивным перламутровым синяком, с сатанинским хохотом указала мне нужную дверь. Кажется, я попал – куда надо! На убогой койке лежал покойник в рваных носках, лицо его было закрыто платком, по которому ползали черные отвратные мухи.

В этом же номере сидел за столом непомерно толстый человечиче, остриженный «под новобранца», и что-то писал. Вкратце я изложил этому чудовищу, что мы, будущие правоведы великой и многострадальной России, высоко чтящие бескорыстное служение святому искусству, приносим праху усопшего скромный дар наших искренних чувств... Толстяк заплакал. Я никогда еще не видел столько бурных слез, – они обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо.

– Ах, как это благородно! – сказал он, обнимая меня.

После чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыханье телег, матерная брань гужбанов-извозчиков, а венок так оттянул мне руки, что я был бы очень рад поскорей от него избавиться.

– А куда мне его возложить? – спросил я.

– Вали на дохлятину, – сказал толстяк, сморкаясь...

С некоторым благоговением я возложил венок на мертвеца и даже постоял над бездыханным трупом, имея выражение неподдельной горести на лице. Кажется, я еще сказал при этом:

– Какая утрата для нашего искусства... правда?

Толстяк согласился, что утрата для России ужасная.

– Садись, чижик. Выпьем рюмку, выпьем две...

Он вложил письмо в конверт, поверху коего уверенной рукой начертил без запинки адрес; краем глаза я прочитал:

Ищите в Саперном переулке дом,
где продаются булки,
квартира сороковая,
для мадам Е. Б. Роковая.
Обратный адрес: Пале-Рояль,
Ничего от прошлого не жаль.

Назвавшись Михаилом Валентиновичем Щеляковым, толстяк большим, как лопата, языком увлажнил почтовую марку.

– Беда со мною, – сказал он вдруг. – Я ее, стерву, обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим.

– Так бросьте ее, неверную! – посоветовал я.

Щеляков щедро разлил вино по стаканам.

– Я тебе не о жене – о литературе. Эту женщину можно бросить и найти другую. А литературу разве бросишь?

– Так вы... писатель? – восхитился я.

– Грешен, – скромно ответил Щеляков¹.

При этом он смотрел мимо меня. Я оглянулся. Покойник уже сидел на постели, просушившись головой в мой венки, словно олимпиец, увенчанный лаврами. Он обложил нас «сво-лочами».

– Без меня пьете? – И сам двинулся к столу, развеваясь траурной лентой, на которой сусальным золотом было начертано:

НЕТ, ТЫ НЕ УМЕР – ТЫ ВСЕГДА ЖИВЕШЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Даже не вчитавшись в надпись, он зашвырнул венки в угол. Я понял, что попал не в тот номер и накрыл венком не артиста, а кого-то другого. Впрочем, это уже безразлично. Воскресший, опохмелив себя шампанским, снова опочил сном праведника.

– А кто это такой? – спросил я писателя.

– Капиталист... типичный кровосос – издатель!

Я с недоверием глянул на рваные носки «капиталиста», из которых торчали грязные, заскорузлые пальцы голодранца.

¹ Писателя с такой фамилией я не знаю. Скорее всего, наш герой встречался с ныне забытым писателем-юмористом М. В. Шевляковым (1865–1913). (Здесь и далее прим. авт.)

– Дыркам не верь! – пояснил Щеляков. – На этом мерзавце начет в миллион рублей. Если он столько задолжал, так подумай – сколько же людей он ограбил! И скольких разорил. Плюй на него, плюй. Перед нами издатель газеты «Это сезона»².

Оплевав пьяного с ног до головы, мы (тоже не очень трезвые) выкатились из Пале-Рояля на улицу. Щеляков поцеловал меня.

– Отчего ты ведешь себя не так, как все нормальные люди? (Я не понял его.) Ведь естественно, что при виде встающего покойника надо бы тебе бежать без оглядки... Прости, я ведь наблюдал за тобой: ты даже не удивился! Мало того, ты еще и чокнулся с этой падалью... Неужели не испугался?

– Не знаю, – ответил я.

– Тогда пошли ко мне. Манечка будет бить нас чем попало, но ты не обращай внимания: она очень хороший человек, сам увидишь... редкая, замечательная женщина!

Мы пришли. Щеляков сказал через дверь:

– Манюня, это я, твой Миша. И не один... с другом!

Дверь на мгновение открылась. Чья-то могучая рука, сграбастав писателя за воротник, втянула его в квартиру с такой быстротой, с какой жалкую лягушку всасывает в трубу мощного насоса. Я услышал какой-то непонятный шум, будто из одного ведра перелили жидкость в другое ведро. Затем двери распахнулись, и по лестнице, теряя котелок и тросточку, скатился необъятный бегемот-Щеляков. Внизу я помог ему подняться. Он пошарил у себя в карманах и вручил мне ту самую карточку, которая уцелела в завалах моего архива.

– Только виноградные вина! – провозгласил он. – Зато у Пашу мы встретим самое благородное общество Петербурга...

Через двери пробился визгливый голос:

– И больше не ходить. Шляются тут... всякие!

– Ничего, – говорил Щеляков. – Манечка золотой человек. Но мы пришли слишком рано. Выпьем и придем чуть попозже...

.....

В прошлом артист-неудачник, Михаил Валентинович порвал со сценой, чтобы стать неудачником в литературе. Но это не уменьшило его природного оптимизма и любви ко всему смешному. До сих пор жалею, что у меня пропала книга Щелякова о жизни домашних животных, собак и кошек, с его дарственной надписью:

Дай Бог, чтоб жизнь твоя шла просто.

Чтоб деток было бы штук до ста.

Полста – твоих, полста – жены...

Мы для труда все рождены!

Сейчас никто не читает Щелякова, а – жаль. Нет, пожалуй, забавнее книги, чем его «Поцелуй с точки зрения физиологии, гигиены, истории народов и философии». Щеляков сделал очень мало: ему всегда мешали любовь к раблезианским радостям жизни и страстная погоня за смешными случаями, которые он даже коллекционировал в своей уникальной картеке. Михаил Валентинович был человек образованный, выпуклый и оригинальный, но обжора и сластена, которого позже сразил миокардит, вызванный приступом хохота. Я потому задержался здесь на Щелякове, ибо именно он, ныне прочно забытый писатель, заронил во мне первое зерно настроений, которые позже определили мое будущее.

² Судя по всему, автор записок говорит здесь об издателе В. И. Рамме, который после краха газеты работал в реакционных «Биржевых ведомостях», а позже издавал «Весь мир».

А теперь спустимся в винный погребок на Загородном проспекте. Как сейчас вижу плотную фигуру караима Жозефа Пашу, выдававшего себя за француза, который давно плюнул на свой политехнический диплом, сделавшись хозяином подвала, пропитанного запахами вина и подгорелых пончиков. Здесь, в отдельном кабинете винницы, образовалось нечто вроде подпольной секты оптимистов-неудачников, взявших себе за правило по-масонски поддерживать друг друга в неурядицах жизни...

Боже, кого я там только не повидал! Князь А. Д. Голицын, известный винодел России, вина которого получали Гран-при на конкурсах в Париже, присылал в дар Пашу бочонки с вином лучшего крымского урожая, и тогда за общим столом можно было видеть почтенного сенатора и мелкотравчатого, забитого нуждой чиновника, репортера и артиста – всех объединяла бочка с вином и полное забвение житейских неприятностей. В подземной пещере на Загородном скрывался от надзора властей клуб «пашутистов», в который я был принят по рекомендации Щелякова.

Пашу приветствовал меня словами:

– Коль попали вы к Пашу, выпить сразу же прошу...

Я отстегнул от пояса шпагу и снял треуголку. Подле меня сидел герольдмейстер Е. Е. Рейтерн, племянник поэта В. А. Жуковского по его жене. Одинокий, неустроенный холостяк, он всю душу и все жалованье сенатора вкладывал в собрание графики и гравюр, которые потом и завещал Русскому музею. Оглядев мой «чижиковый» мундир, он сказал:

– Юрист, конечно, должен быть образован. Но в каждой области знаний всегда остается лишь дилетантом. А вас, юноша, разве не тревожит вопрос судейской морали?

При этом он без запинки процитировал мне из Байрона:

Юрист всегда в грязи – того не скроем,
Как нравственности жалкий трубочист,
Покрыт он сажи толстым слоем:
Сменив белье, не станет чист...

Среди «пашутистов» не было принято поминать правительство. Едва услышав это слово, Пашу стучал кулаком по стойке:

– Не выражаться! Правительство – слово нецензурное, критике недоступно, как доступно, например, варьете с раздеванием Бланш-Гандон или полицейский участок с «дантистами», где человеку бесплатно удаляют все лишние зубы...

Именно здесь, в подвале Пашу, я стал набираться впечатлений, каких мне так не доставало в «Правоведении». Русское общество занимали тогда два насущных вопроса: созыв первой Гаагской конференции о мире и телеграмма писателя Гиляровского из Белграда, в которой он обличал террор Обреновичей. Справа от меня сидел композитор В. И. Вердеревский, автор салонных романсов, а подле него карикатурист Э. Я. Пуарэ, более известный своим псевдонимом «Карандаш». По мнению композитора, всеобщее разоружение способно вызвать конфликты:

– Скажи дикарю, чтобы он оставил свою дубину. Дикарь оставит ее, но потом заберется в густой лес, где его никто не видит, и там – назло тебе – вырежет дубину еще потолще.

Пуарэ подмигнул актеру Люсьену Гитри:

– Русским можно ехидничать, у них нет Рейна, за которым лежит вооруженная до зубов Германия, а до Волги никакой кайзер не доберется...

Много говорили о Гиляровском: сам того не ведая, он превысил скромные права журналиста и, по сути дела, произвел против династии Обреновичей крупную политическую диверсию:

– При этом сделал для Сербии великое дело! Но сделал как писатель, а не как опытный пинкертон...

Стараясь не касаться правительства, «пашутисты» яростно обличали двор и окружение царя. Нигде я не слышал такой откровенности, как у Пашу! Открыто рассказывали, что столичный градоначальник генерал Клейгельс украл с Невы речной трамвай, обнаруженный позже на озере в его же имении; Победоносцев никогда сам взятки не берет, зато их берет его молоденькая жена.

К полуночи «пашутисты» раздвигали стулья, скидывали сюртуки и фраки, готовясь к ритуальному танцу перед закрытием заведения, и Вердеревский сиплым голосом запевал:

Если жены наши злятся.
Где же нам от них спастись?
У Пашу, у Пашу —
Заходите к нам, прошу.

Рейтерн, опутанный долгами, вопрошал друзей:

Где среди шумных разговоров
Я забыл о кредиторах?
У Пашу, у Пашу —
Всех друзей к нему прошу.

Щеляков плясал на толстых ногах, импровизируя:

Где с утра и до закрытья
На целкач могу кутить я?
У Пашу, у Пашу —
Убедиться в том прошу...

Теперь-то я понимаю, что в пору тогдашнего «безвременья» пещера «пашутистов» на Загородном была необходимой отдушиной, где образованный человек мог выговориться, не боясь сказать правду. А сколько было тогда подобных «пещер»! Еще император Николай I выразился, что в России царит полная свобода, ибо каждый россиянин может думать что хочет, лишь бы он не болтал своим языком. Русские люди всегда мыслили чересчур крамольно, но у каждого из них была своя «пещера», где он не боялся распахнуть душу... Не помню, как я добрался до дому, в дымину пьяный.

.....

Спасибо родителям: от матери я воспринял слишком пылкую кровь, наследовав от отца расчетливый разум и умение верно оценивать обстановку («Долготерпение – русская добродетель», – часто слышал я от него). В результате мой характер образовывался из сплава двух нетерпимых крайностей, отчего я привык обдумывать поступки холодно, зато действовал горячо и порывисто. Можно сказать, что, взяв от родителей самое существенное, я не был похож на них, – уже тогда, вступая в полосу зрелости, я становился самим собой...

Совсем неожиданно мне пришлось драться на дуэли. Случилось это из-за ерунды. Однажды в дортуаре Училища я заметил сокурсников, которые что-то горячо обсуждали шепотом, а в их руках шелестели бумажные ассигнации. Я сказал им:

– Уж не собираете ли денег на новый венок?
Эстляндский барон Аккурти повернулся ко мне.

– Ты появился как раз кстати! – обрадовался он. – Входи в нашу общую долю. Надеюсь, у тебя еще нет соержанки?

– Оплачивать таковую у меня нет и денег.

– Вот и хорошо. Нас, малоимущих, только четверо, а нам не хватает пятого, чтобы собрать для первого аванса. Мы решили сообща платить за одну красотку с удобной квартирой, а навещать ее станем все пятеро строго по расписанию.

– Неужели любовь в складчину? – возмутился я.

– А почему бы и нет? Если в складчину выпивают, так почему бы не иметь в складчину и женщину? Это дешевле и удобнее.

Я врезал Аккурти пощечину, после чего выпалил ему в лицо те стихи Байрона о нравственности юристов, которые запомнил со слов сенатора Рейтерна. Вскоре состоялась дуэль – на шпагах. Противник удачным выпадом распорол мне рукав мундира, слегка повредив мышцы, что вынудило меня три дня побыть дома – подле отца... Чем больше я взрослел, тем холоднее становились мои с ним отношения. Головою я понимал, что он человек далеко не глупый и вполне добропорядочный. Но сердцем не мог принять его чересчур правильных сентенций. Мы стали далеки.

Единственное, что еще связывало нас, так это смутная память о матери, пропавшей где-то в круговерти Европы, словно никогда и не было подле нас этой красивой женщины, которая когда-то стояла на балконе, держа меня на своих руках, а под нами, ошетинаясь штыками, шли, шли и шли...

Они идут и сейчас! Я слышу их железную поступь.

Время неподвижно – это движемся мы, наивно думая, что летит время. Однако прав ли я в этом? Не сближаю ли библейский афоризм с казарменным острословием: «Солдат спит, а служба идет»? Календарь готов уронить последнюю страницу года, которая и опадет неслышно, как последний лист с усталого дерева.

Где лучше всего спрятать отживший лист? Оставьте его в лесу, и там его никто никогда не найдет...

5. Не надо стреляться

Не могу забыть, что однажды в Новой Деревне ко мне пристала цыганка с младенцем на руках и, отказавшись от гонорара, столь существенного для ее профессии, наворожила мне:

– Будешь часто болеть, но проживешь долго. Будешь иметь много заслуг, но спасибо тебе никто не скажет. А умрешь одинокий, зато в конце жизни найдешь свое счастье...

Эти слова почему-то преследовали меня всю жизнь, и теперь остается лишь ожидать в старости счастья.

Под влиянием афоризма Писарева я обрел почти мученическую усидчивость в самообразовании и смею думать, что к началу XX столетия вступал я в него уже вполне здоровым, хорошо начитанным человеком. По мере того как близился срок выпуска, правоведы, мои однокашники, становились все откровеннее в своих притязаниях на будущее: при 12-балльной системе экзаменов получение чина зависело от набранных баллов; все чаще слышалась в дортуарах банальная песня:

Мы адвокаты – нам куш подай,
и вот тогда ты речам внимай.
Давай нам дело – чернее тьмы,
и станет бело – клянемся мы!

Осуждая других, буду судить и себя. Если Россия моего времени и была вулканом, то я, конечно, как и мои современники, невольно отравлялся его ядовитыми газами. Правда, я старался не дышать полной грудью, но уже тогда осознал, что карьера законника не по мне. Но я презирал и бунтующий нигилизм, которым так гордилась тогдашняя молодежь, вместе с дурным отвергавшая и все доброе в русской жизни, и для нигилизма я нашел иное слово – нигилятина...

Перед Щеляковым я однажды честно сознался:

– Не знаю чего хочу, но я очень хочу.

– Только не иди в актеры, – предупредил он меня. – На сцене, как и на эшафоте, много людей потеряло головы.

– А если – в литературу?

– Посмотри на меня: где ты видишь мою голову?..

В ту пору меня очень привлекали сады с гуляньями и кафешантаны столицы – «Фоли-Бержер», «Шато-де-Флёр», «Монплеzir», «Орфеум». Я любил толпу и любил сливаться с нею. Мне нравилась эстрада, ужимки площадных клоунов, виртуозность иллюзионистов. Помню, как знаменитая Франкарио изображала сцену купания. Прохожий оборванец воровал ее одежду, брошенную на сценическом берегу, оставив женщине только шляпу. Но из этой шляпы Франкарио извлекала чулки и туфли, нижнее белье и платье, наконец, в ее руке раскрывался зонтик – и она исчезала за кулисами, полностью одетая. В этом фокусе меня потрясла не вульгарность женщины, а технические возможности ее шляпы.

Наверное, по этой причине меня стал привлекать уголовный мир с его профессиональными навыками. Мне как правоведу был открыт доступ в «Музей сыскной полиции», где я – с помощью одного взломщика – осваивал приемы вскрытия секретных замков. Когда однажды я открыл сейф с помощью обычной сапожной дратвы, мой наставник приподнял над головой котелок:

– Довольно, мсье! Если ваши успехи будут таковы и далее, боюсь, это увлечет вас в сторону от законности...

Общение с преступниками высокого класса и мастерами уголовной полиции сделало меня очень внимательным; в любой уличной давке я стал угадывать, у кого тут пальцы смазаны канифолью для изъятия кошельков из карманов; у меня развилась отличная память на лица людей, встреченных в толпе хотя бы однажды. Боясь огорчать отца, я не хотел порывать с «Правоведением», но все же испробовал себя в литературе. Часто дежуря в полицейских участках, бывая в тюрьмах и на допросах, я стал пописывать в бульварных газетенках скромные заметки о преступности. Но приобрел славу лишь «бутербродного» репортера, как называли всю газетную шуштуру, ибо в редакции за мою информацию расплачивались рюмкою водки и бутербродом с колбасой. Когда недавно я рассказал об этом нашему артисту В. Р. Гардину, он долго смеялся, а потом сказал, что стопка водки с бутербродом – это еще замечательный гонорар.

– А вот я в свой первый театральный сезон в Риге (я, бывший офицер!) получал за каждый спектакль пирожок с рисом.

– Наверное, в рисе было и мясо?

– Ни мясинки! И продать нечего. Один револьвер в кармане, а его не продашь: иначе из чего бы застрелиться?..

Время было нехорошее. Люди как-то разучились ценить свою жизнь, а статистика самоубийств в России постоянно повышалась. Стрелялись из-за двойки по латыни безусые гимназисты, томные дамы умирали от порции аптечного хлоралла, а горничные сводили счеты с жизнью посредством фосфорных спичек.

Отец, кажется, уже заметил, что со мною происходит что-то неладное: он умолял меня сдать экзамены последнего курса. Мне совсем не хотелось оставаться в мире юриспруденции, но я все же закончил Училище, получив на экзаменах средний балл, выходя в этот пагубный

мир по X классу Табели о рангах – в чине коллежского секретаря. Все мои сокурсники сразу нашли свое место в жизни, а я в это время потерял свое место...

Потеряв это место, я заодно уж потерял и голову!

.....

Правда, из разряда «бутербродных» журналистов я незаметно для себя переместился в категорию «кредитных»; для таких, как я, редакция открывала кредит в кабачках на Казанской улице или в Фонарном переулке, где я пил свое «кредитное» вино, а слепой тапер играл на рояле (наверное, тоже в кредит?). В этот период жизни я стал неумеренно много выпивать, сознавая свою неустроенность и свое непонимание жизни...

Около 1901 года заболел дифтеритом в Пажеском корпусе Георгий Карагеоргиевич, старший брат будущего короля, и Петербург навестил их отец, с которым я тогда же и познакомился в доме № 6 по Адмиралтейской набережной, где он остановился на квартире своего брата – Арсения Карагеоргиевича, полковника русской службы. В этом же доме проживал и знаменитый художник Константин Маковский, друживший с Карагеоргиевичами.

Петр Александрович (это его фотографию показывала мне мама!) выглядел усталым и бедным человеком, огорченным житейскими невзгодами и недавней смертью жены. Он в совершенстве владел русским языком. Держался крайне скромно, но я-то знал, что скромность не есть личное достоинство – это национальная черта всех сербов, уважающих себя. Претендент на престол в Белграде, Петр Карагеоргиевич душевно благодарил меня за мое внимание к его младшему сыну – Александру.

По газетам я знал, что Петр уже пытался добыть престол, возглавив народное восстание в Боснии, но инсургенты потерпели тогда поражение; в войне 1877–1878 гг. Петр сражался с турками в рядах неукротимых черногорцев. Мне было интересно слышать, за что им получен французский орден Почетного Легиона.

– Я окончил Сен-Сирскую академию и, будучи офицером, сражался за Францию при Седане; раненный в битве, я сумел переплыть реку и тем спасся от германского плена... Сейчас я лишь частное лицо, – уныло признался Петр, – но в Сербии беспокойно, народ не выносит Обреновичей, многое может перемениться!

Именно в этом доме на Неве я встретил женщину ослепительной красоты, которую запечатлел на своем портрете Константин Маковский; маэстро окружил свою бесподобную натуру старинной бронзой, эффектно бросил на колени красавицы шкуру леопарда.

Для женщин ее круга эмансипация, о которой так рьяно хлопотали курсистки-бестужевки, казалась уже лишней – она была уже достаточно эмансипированной, как и все дамы высшего света столицы, но свою женскую свободу видела лишь в полном раскрепощении нравов – и не этим ли привлекла меня, глупого юнца?..

Эта женщина была замужем и намного старше меня.

В новое для меня время я вступил стоящим на коленях.

Перед высшим существом на земле – перед женщиной!

Впрочем, я не хочу называть ее имени, запятнанного пороками и явным предательством³. Я тогда не знал, что она была любовницей министра юстиции Муравьева, а недавно делала аборт после связи с Ирнеем, викарием Киевским. Опытной светской львице, наверное, нравилось то привлекать меня к себе, то повергать в бездну отчаяния наружной холодностью.

Удивляюсь, как быстро была парализована моя юношеская воля, а все планы жизни разрушились этой блудницей.

Наконец настал день окончательного решения.

³ Можно догадаться, что это была Аврора Павловна, жена полковника А. А. Карагеоргиевича. Она являлась матерью принца-регента Павла, который в 1939 году, накануне нападения Италии и Германии на Югославию, вступил в предательскийговор с Гитлером, о чем не раз писалось в советской исторической литературе.

– Надо стреляться! – убежденно сказал я себе.

Помню, что действовал почти механически, как следует проверив работу револьвера. Потом присел к столу, сочиняя нечто вроде послания: «Вы, живущие после меня, должны быть счастливее нас, а я покидаю этот мир, не желая винить никого, ибо обстоятельства намного сильнее меня...» Как я был наивен!

Но все готово. Можно стреляться.

– А теперь встань! – услышал я голос отца.

Он неслышно появился на пороге моей комнаты, привычным жестом протирая стекла пенсне замшевым платком.

– Прочти, что ты там напортачил, – велел отец.

Я молчал. Папа подошел ко мне. Прочел сам.

– Пшют гороховый! – заявил он мне. – Я всю жизнь тянусь в нитку, чтобы сделать из тебя полезного для России человека... Подумал ли ты обо мне? Вспомнил ли ты о матери?

– У меня нет матери, – отвечал я, подавленный.

– Как у тебя поворачивается язык? – вдруг закричал отец. – Я давно наблюдаю за тобой, и ты давно мне противен и гадок. Встань прямо. Не смей отворачивать свою похабную морду...

При этом он хлестал меня по щекам. И это было так ужасно, так нестерпимо позорно, а голова так жалко моталась из стороны в сторону, что я не выдержал – заплакал:

– Прости, папа. Но я очень несчастен.

– Я... тоже, – ответил отец. – Я тоже глубоко несчастен. Потому что продолжаю любить твою мать, которая – я верю – еще вернется к нам, и я все прощу ей... все, все, все!

Мне вдруг стало безумно жаль его. Ведь он совсем одинок. И когда мама покинула нас, он продолжал любить, и это открытие ошеломило меня. Перед его трагедией жизни моя страсть показала мне жалкой и мелочной...

Отец вдруг спросил:

– Что ты ценишь из житейских заповедей?

– Только одну: «Если все, то не я!»

– Так и следуй этой заповеди, а больше не дури...

Я всю ночь размышлял: где мне быть?..

Как раз умерла британская королева Виктория, опозоренная поражениями английской армии, которую избивали в Южной Африке буры. Пожалуй, на стороне буров были тогда все – не только народы, но все правительства, а в России даже дворники, подметая панели, во все горло распевали:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Я оказался в Одессе, где собирались добровольцы, едущие на край света, дабы на стороне буров сражаться с английскими колонизаторами. Я не был одинок в своем стремлении: среди добровольцев встречались студенты и крестьяне, интеллигенты и просто разочарованные люди, искавшие благородной смерти в бою, немало было и врачей Общества Красного Креста. Нет смысла излагать дальний путь, скажу, что только в порту Джибути я впервые увидел африканцев; пароход «Наталь» доставил нас в гавань Делагоа-Бей, откуда мы поездом въехали в страну буров.

Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах-фермах, окруженных деревьями мимозы и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино – для безграмотных женщин, на почетном месте лежала Библия – для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой буры никогда не блистали, и лишь много позже я понял то, чего не мог

понять раньше: буры такие же колонизаторы, как и англичане, но желавшие сохранить свое первенство в Африке, дабы и далее угнетать чернокожих.

При мне рабы-кафры заваривали кофе для господ фермеров и подавали трубки для буров, отслеживающих англичан в зарослях у железнодорожной насыпи. Все буры были прекрасные стрелки, я сам видел, как с расстояния в 600 метров один пожилой бур вlepил пулю английскому офицеру точно между глаз. Прирожденные охотники на антилоп и жираф, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмеявшихся вторгнуться в их заповедный кораль. Городское же население Трансвааля состояло из подонков и аферистов, наехавших откуда угодно искать золото и алмазы, готовых сражаться сегодня за буров, а завтра за англичан, и потому отношение самих буров к русским добровольцам сначала было несколько настроженным. Надо было пожить с ними, попить с ними кофе и выкурить несметное количество табака, чтобы они стали тебе доверять. Теперь-то все знают, что англо-бурская война – результат давнего англо-германского соперничества из-за колонии в Африке, но тогда мне, как и большинству русских, казалось, что буры, воодушевленные любовью к самоизоляции, подобно черногорцам, сражаются только за свою свободу...

Немало запомнилось в этой войне, но я нарочно сокращаю свое описание, дабы не увлечься множеством любопытных деталей чужестранного быта. Выберу из копилки памяти главное. Я был ранен пулей в плечо, после чего валялся в госпитале Претории. Затем меня свалила жестокая малярия, приступы которой ощущаю и поныне. Наконец, однажды на поезд буров наскочил английский бронепоезд, я – с оружием в руках – попал в плен к англичанам. Сначала они никак не желали признавать во мне «нонкомбатанта», угрожая расстрелом на месте, а потом загнали меня за колючую проволоку своего концлагеря, где джентльмены морили голодом и жаждой тысячи женщин и детей буров. Русские люди уже достаточно извели на своем историческом пути все виды тюрьмы и каторги, но до создания концлагерей они еще не додумались, а Гитлер только совершенствовал систему массового истребления людей, изобретенную англичанами.

Я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малярией, но еще три весьма полезные вещи: умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету – хаки и ловкость в стрельбе, ибо именно англо-бурская война вызвала во всем мире большой интерес к снайперскому искусству...

.....

В конаке Белграда все оставалось по-прежнему, и король-кретин обожал свою перзрелую Драгу, а в окружении его престола заглавная роль отводилась «напреднякам» – австрофилам.

В марте 1903 года на улицы сербской столицы вышли студенты и рабочие, демонстрируя под окнами конака:

– Долой деспотов... свободы! Живео Србия!

– Стреляйте в них, – требовали «напредняки».

Но солдаты гарнизона отказались выполнять приказ.

– Так вызовите жандармов, – повелел король.

– И пусть они перещелкают всех! – зывала Драга...

Жандармы убили восемь человек и десять тяжело ранили.

– Я хочу любить и быть любимым, – рассуждал король.

Вечером 28 мая в конаке должен был состояться «домашний» концерт. Драга обещала королю спеть веселую песенку.

Я появился в Белграде накануне этого концерта.

Как же это случилось? Да очень просто...

6. Хорошо быть сербом...

В моем поведении, как я понимаю сейчас, ничего странного не было, и вы, пожалуйста, не считите меня авантюристом. Дело даже не в сербской крови, доставшейся мне от матери. Слишком красноречиво высказывание поэта Байрона, павшего в борьбе за свободу греков: «Если у тебя нет возможности бороться за свободу у себя дома, так борись за свободу своего соседа». По-моему, лучше не скажешь...

После всего пережитого в Африке я проводил время в Петербурге, много читая и навещая своих «пашутистов». Однажды, после неприятного для меня разговора с отцом, я всю ночь не спал. И всю ночь скрипел расшатанный паркет под шагами неспавшего отца. Утром он вошел ко мне и деловито отсчитал для меня четыре сотенных «катеринки»:

– Обменяешь на франки в Париже! Проблудись, как паршивый кот, чтобы всякая блажь из головы вылетела. Делай что угодно, но ты обязан вернуться домой совсем другим человеком...

Заграничный паспорт до Парижа был легко раздобыт в канцелярии санкт-петербургского градоначальства; полиция подтвердила, что препятствий к моему отъезду не имеется: политически я был чист, аки голубь небесный. Я покинул столицу варшавским поездом, который когда-то увез в неизвестность и мою маму. Билет у меня был до Парижа, но, доехав до Варшавы, я пересел в венский экспресс. До сих пор не берусь четко объяснить, почему я так поступил, однако я сделал это в твердом убеждении, что поступаю правильно. И точно так же, как не прельщали меня соблазны Монмартра, так не манили меня и волшебные сказки Венского леса, мне был безразличен великолепный Пратер с его постоянным оживлением красивой, нарядной и привлекательной публики...

Австро-Венгрия, по мнению газет, была давней тюрьмой славянских народов, и уже на венском вокзале «Вестбанхофф» я заметил, что немецкую речь заглушают голоса чехов, словаков, сербов, поляков, иллирийцев, русинов и украинцев, особенно галицийских. Мне, признаюсь, было отчасти даже забавно развернуть венскую «Русскую Правду», имевшую сногшибательный подзаголовок: «Газета для русских мужиков». Возле меня на бульварной скамье расположилась семья беженцев из Белграда; суровый отец с двумя девочками, обутыми в нищенские «опанки», сказал, что у него был и сынок – студент-технолог.

– Но его в Белграде напередняки ухапшили. Ныне там, – добавил он, – пришло ванредно станьо...

Я кивнул сербу: ухапшись – это значит арестовать, а ванредно станьо – это осадное положение. Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором:

– Почему не жить нам спокойно? Все это проклятые Обреновичи... неужели мать-Россия за нас, сербов, не вступится? Пусть он сгорит, этот проклятуший конак с королями вместе!

Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов – что там с его сыном, жив ли? Но в длинном списке, среди множества узников башни Нейбоша, мне вдруг встретилось имя... матери.

Я, наверное, изменился в лице.

– Что стало, друже? – спросил серб.

Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал в кассу и протянул деньги. «Куда же ехать дальше?»

– Билет до... Землина, – сказал я кассиру.

Землин – пограничный город Австрии, с его речных пристаней уже хорошо видны улицы Белграда и даже тюрьма Нейбоша.

– Вы серб? – спросил кассир, наверняка посаженный в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных.

– Да! – отвечал я с нарочитой гордостью.

На что я тогда рассчитывал – сам не знаю. Тем более что в своей соседке по купе, развязной и говорливой мадьярке, я без особого труда распознал служащую венской полиции. Она и сопроводила меня до Землина, игриво болтовней отвлекая от тяжелых дум о матери, ждущей расправы в башне Нейбоша.

Итак, я появился в Белграде накануне концерта...

.....

Когда колесный пароходик Австро-Дунайской речной компании переплыл из Землина в Белград, на причале, совершенно пустынном, стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил паспорт, жандарм не вернул мне его:

– В день отъезда получите в русском посольстве...

Вечерело. Над Дунаем и Савой клубились тучи, в отдалении громыхнул гром, прошумели прибрежные ветлы и тополя. Жандарм свистком подозвал пролетку, я сел в нее и поехал по незнакомым улицам. Белград с его лачугами и грязью, с лужами и поросятами в лужах напомнил мне захудалую русскую провинцию.

Извозчик остановился возле «Хотел Кичево», где на первом этаже размещался дешевый ресторанчик, над ним располагались комнаты для приезжих. Начался дождь, и я был рад крыше над головой. Лакей проводил меня в комнату. Водопровода не было, а будка уборной находилась во дворе. Все выглядело убого и жалко. Но одно лишь сознание того, что я нахожусь близ матери, заточенной неподалеку от меня, взвинчивало нервы, и я был готов к самым дерзким решениям...

Лакей оказался очень внимательным ко мне.

– Друже, наверное, из Одессы? – справился он.

– Нет... из Кишинева, – приврал я.

– А где научились говорить по-сербски?

– От матери, а дед ее был серб – Хорстич.

– Значит, у вас полно родственников в Белграде?

– Даже в башне Нейбоша, – ответил я.

Странно прозвучала следующая фраза лакея:

– Жаль, что вы приехали в такое подлое время... Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушайте анекдоты.

Он предупредил, что «Кичево» строено еще турками, обычай здесь старый: если комнат для гостей не хватает, приезжих кладут по два человека на одну постель.

– Эта манера осталась еще от мусульман, – сказал лакей.

Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор. А когда вернулся, на кровати уже лежал какой-то молодой человек.

– Так вы откуда? – спросил он по-русски.

– А вы?

– Из Сараево. Но учился в вашем Славянском учительском институте, после чего был учителем рисования в гимназии Таганрога, преподавал черчение иркутским гимназистам...

Я прилег с ним рядом. Сосед загасил свечу.

– Не засыпайте, – предупредил он меня шепотом.

– Почему?

– Здесь оставаться нельзя. Опасно!

– Что может мне угрожать?

– О вашем приезде я узнал от лакея... Доверьтесь мне. Сейчас тихо покинем эту комнату, на углу Караджорджевой ожидает коляска с поднятым верхом. Мне поручено увезти вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше. Для вас и для меня.

– А разве я здесь в опасности?

– Да. Надо спешить. Все объяснят вам потом...

Мы покинули гостиницу (и в самом деле подозрительную), на коляске с верхом, застегнутым от дождя, подъехали к выбеленному известкой длинному зданию с одинаковыми окошками.

– Это... что? Казармы? – удивился я.

– Да. Казармы славной Дунайской дивизии.

Мы проникли внутрь со двора. Через кухню я был проведен в помещение, освещенное не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Вдоль стола выстроились треножцы (по-нашему – табуретки), в буфете размещались бутылки с вином и горки посуды. В углу, возле икон, я сразу заметил портреты Суворова, Скобелева и Гарибальди. Иногда заходили с улицы офицеры, в мое сознание крепко впечатывались их сербские имена: Милорад, Божедар, Любомир, Радован, Душан, Светозар. Головы офицеров покрывали «шайкачи», чем-то очень похожие на пилотки современных летчиков. Поглядывая на меня, сербы выпивали по стопке ракии, тихо беседовали и удалялись, ни о чем меня не спрашивая. Я уже хотел прилечь на диване, когда в казино стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым, пристальным взглядом, представился:

– Поручик Драгутин Дмитриевич, но зови меня... Апис!

«Апис»? Но ведь Аписом называли священного быка из храма Мемфиса, о котором я читал у Плутарха, и я догадался, почему этот офицер так именуется: Драгутин-Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык, обладал геркулесовой силой. Могучей дланью он указал на своего товарища:

– А это поручик Петар Живкович. Сейчас поужинаем...

Живкович по-хозяйски достал из буфета посуду, на столе появились жареные цыплята, вареные яйца и бутылка с вином.

– Ты, друже, не удивлен? – спросили меня.

– Отчасти – да. Есть чему удивляться.

Но возле этих людей мне было уже хорошо.

– Мы забрали тебя из «Кичево» ради твоей безопасности. После случая с писателем Гиляровским здесь в любом русском подозревают опасного журналиста или шпиона, – пояснил Апис.

На это я ответил, что от литературы далек, зато невольно стал близок к матери, которую держат в белградской тюрьме. Заодно я сказал, что мои предки – Хорстичи, и потому я всегда чувствовал себя не только русским, но и сербом:

– А моя мать через Ненадовичей была в родстве с женою Петра Карагеоргиевича... не за это ли ее ухаживали?

Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно.

– Хорошо быть сербом, да нелегко – произнес он. – Сейчас в Сербии, как в Германии времен железного Бисмарка, который говорил: «Каждый немец по закону имеет право болтать все, что придет в голову, но только пусть он попробует это сделать!»

– Хорошо, что ты с нами, – добавил Живкович. – Если бы в конаке стало известно, ради чего ты приехал, твой чемодан нашли бы – отдельно от тебя – на пристани в Землине или даже на вокзалах мадьярского Пешта... Вот и все! Так что поживи в нашей казарме: здесь тебя, русского гостя, никто не тронет. А если твоя мать еще жива, мы освободим ее...

– Когда? – спросил я обрадованно.

– Скоро, – мрачно ответил Апис. – За любым громом слов обязательно должна блистать свирепая молния, а другая гроза и не нужна сейчас нашей Сербии. – Треножец отчаянно скрипел под массивною глыбой его тела. – Сербом быть хорошо, – убежденно повторил он. – Сам в тюрьму сядешь, сам и освободишься... А потому выпьем за последних Обреновичей в нашем конаке!

Апис взял бутылку за горлышко с таким злодейским выражением на лице, будто схватил кого-то за глотку и сейчас задавит. Ракия была крепкая, цыплята жирные, а сыр чересчур острый...

В казарме Дунайской дивизии я прожил четыре дня и стал здесь своим человеком. Моей наблюдательности хватило на то, чтобы сообразить: я попал в центр заговора военной хунты. По ночам просыпался от звонков телефонов, невольно вздрагивал от грохота оружия, которое привозили и куда-то опять увозили целыми грудями. Я подружился с молодым капитаном Ездимиром Костичем, окончившим наш Александровский кадетский корпус в Москве. Утром 28 мая Костич сказал мне:

– Сегодня вечером в конаке будет концерт. Все старые песни кончатся, Сербия запоет песни новые!

В опустевшем казино ко мне подсел Драгутин Апис:

– Нет смысла скрывать, что сегодня ночью победим или все погибнем... Победят или погибнут все, кого ты здесь встретил! На террор власти отвечаем террором. Но если народ сдавлен страхом, действовать обязаны мы – армия. От Обреновичей не дожидаться чистой голубки радости – навстречу нам летит черный ворон отчаяния... Если Черногория – славянская Спарта, то Сербия станет для славян спасительным Пьемонтом, откуда вышел Гарибальди, чтобы спасти Италию... Уеденье или смрт! (По-русски это звучало бы: «Объединение или смерть!»)

Так вот, оказывается, ради чего собираются здесь эти мужественные люди, и смутная идея южнославянской общности (Югославия) вдруг оформилась для меня в громадном человеке с бычьей силой. Настроенный романтично, я выразил желание следовать за ним – ради свободы Сербии, ради свободы матери. Апис вручил мне два револьвера, барабаны которых уже были забиты патронами. Он сказал, что любая свобода добывается кровью:

– А в том случае, если нас ждет поражение, пытки и казни, ты настойчиво требуй свидания с русским послом Чарыковым, которому и скажешь, что примкнул к нашему святому делу лишь из благородного чувства сыновьей любви...

Ездимир Костич представил меня полковнику Александру Машину, брату первого мужа королевы Драги. Когда я спросил, какова конечная цель заговора, Машин дал мне прочесть газету белградских радикалов «Одбек», в которой жирным шрифтом были выделены слова:

«Мы хотим, чтобы не было личного культа, идолопоклонства, чтобы каждый серб выпрямился и больше ни перед кем не ползал. Мы хотим, чтобы закончилась эра личного режима, черпающего силу в моральной слабости слабых людей...»

– Вы желаете сделать из Сербии республику?

– Хорошо бы! – неуверенно отозвался Машин. – Но моя цель проще: я хочу выпустить кровь из гадюки Драги, которая и свела моего брата в могилу своими частыми изменами...

В полночь офицер Наумович доложил, что концерт в конаке закончился, королевская чета перешла в спальню:

– Король читает королеве роман... вслух!

Разведка у Аписа была великолепная, и потому, когда он спросил, что именно читает король, Наумович ответил точно:

– Роман Стендаля «О любви».

– Батальон вышел?

– Да. Артиллеристы выкатывают пушки из арсенала.

– Хорошо быть сербом, – отвечал Апис, смеясь. – Остались не завербованы мною только два человека – король и королева!

Я насчитал 68 заговорщиков и невольно залюбовался ими.

Немногословные люди, вышедшие в офицеры от сохи, от тяжелого труда пахаря; коренастые и загорелые, они носили форму, очень схожую с русской, от них пахло дешевым овечьим

сыром, крепким табаком и потом. Чем-то они были похожи на русских, но что-то и отличало их от наших офицеров. Их гортанная, клокочущая речь, подобно крикам орлов в поднебесье, была деловой и краткой... Апис посмотрел на часы:

– Господа, не пора ли? Помолимся...

Перед иконой святого Саввы офицеры распихивали по карманам пакеты динамита. Потом все вышли, и я пошел за ними. Конак был темен, окна не светились, в саду ветер пошевеливал деревья.

– Роман «О любви» дочитан, – произнес Машин.

Адъютант короля, вовлеченный в заговор, должен был открыть двери конака. Он их открыл, и его тут же пристрелили.

– Не бейте своих! – прогорланил Живкович.

– Не время жалости – вперед! – призывал Апис...

Конак осветился заревом электрического света. Мы ворвались в вестибюль, где охранники осыпали нас пулями. Все (и я в том числе) усердно опустошали барабаны своих револьверов. Сверху летели звонкие осколки хрустальных люстр и штукатурка. Клянусь, никогда еще не было мне так весело, как в эти мгновения... Свет разом погас – мрак!

В полном мраке мы поднимались по лестнице, спотыкаясь о трупы. Двери второго этажа, ведущие внутрь королевских покоев, были заперты прочно. Кто-то нервно чиркал спичками, и во вспышках пламени я видел, как избивают старого генерала:

– Где ключи от этих дверей? Давай ключи!

Это били придворного генерала Лазаря Петровича.

– Клянусь, – вопил он, – я еще вчера подал в отставку...

Дверь упала, взорванная динамитом. Рядом со мною рухнул Наумович, насмерть сраженный силою взрыва. Задыхаясь в едком угаре порохового дыма, я слышал вопли раненых.

– Вперед, сейчас не до жалости! – увлекал нас Апис.

Из потемок конака отбивались четники Драги и короля. Мы ломились дальше – через взрывы, срывавшие с петель громадные двери, через грохот выстрелов. Наконец попали в королевскую спальню и увидели громадную кровать.

Балдахин над постелью еще покачивался.

– Но их здесь нету, – отчаялся Костич.

Полковник Машин запустил руку под одеяло:

– Еще теплая. Гад с гадюкой только что грелись...

Зверское избиение генерала Петровича продолжалось:

– Где король? Где Драга? Куда они делись?

Мне под ноги попала книга, я машинально поднял ее. Это был роман «О любви»! Апис тяжеленным сапогом наступил прямо на лицо Петровича:

– Или ты скажешь, где потаенная дверь, или...

– Вот она! – показал генерал.

И его застрелили. Потаенная дверь вела в гардеробную, но изнутри она была закрыта. Под нее засунули пачку динамита.

– Пригнись... поджигаю! – выкрикнул Машин.

Взрыв – и дверь снесло, как легкую печную заслонку.

Лунный свет падал через широкое окно, осветив две фигуры в гардеробной, и подле них стоял манекен, весь в белом, как привидение. Электричество вспыхнуло, снова освещая дворец.

Король, держа револьвер, даже не шелохнулся.

Полураздетая Драга пошла прямо на Аписа:

– Убей меня! Только не трогай несчастного...

В руке Машина блеснула сабля, и лезвие рассекло лицо женщины, отрубив ей подбородок. Она не упала. И мужественно приняла смерть, своим же телом закрывая последнего из династии Обреновичей... Король стоял в тени белого манекена, посверкивая очками, внешне ко всему безучастный.

– Я хотел только любви, – вдруг сказал он.

– Бей! – раздался клич, и разом застучали револьверы!

– Сербия свободна! – возвестил Костиц. – Открыть окно...

Офицеры выругались, но их брань, с поминанием сил вышних, звучала кощунственно.

– Помогите, дружески, – обратились они ко мне.

Я взял короля за ноги, он полетел в окно. Развеваясь юбками и волосами, следом за ним закувыркалась и Драга.

– Мать их всех в поднебесную! – закричали сербы.

В углу гардеробной еще белел прозрачный манекен, на котором было распялено платье королевы, в каком она только что пела на придворном концерте. Это платье мы разодрали в клочья, чтобы перевязать свои раны. Военный оркестр на площади перед конаком начал играть: «Дрина, вода течет холодная...» Только теперь я заметил лицо Аписа, искаженное дикой болью:

– Не повезло... три сразу. Три пули в меня!

Но с тремя пулями в громадном теле «бык» еще держался на ногах. С улицы гроыхнули пушки, возвещая народу: ДИНАСТИЯ ОБРЕНОВИЧЕЙ ПЕРЕСТАЛА СУЩЕСТВОВАТЬ! Белград просыпался, встревоженный этой вестью, ликующие толпы сбегались к конаку:

– Хотим королем Петра, внука славного Кара-Георгия...

Я слышал, как Живкович спрашивал:

– Знать бы, что подумают теперь в Вене?

– Мнение Петербурга для нас важнее, – отвечал Апис...

Сквозняки перемещали клубы дыма по комнатам конака. Придя в себя, я начал сознавать, через какую я прошел мясорубку. В конак прибежал посыльный, доложил, что президент страны Цинцар Маркович и военный министр Павлович вытащены из квартир на улицы и расстреляны на порогах своих домов:

– Там их жены... плачут! Рвут на себе волосы...

– Так и надо, – ответил Апис. – Братьев Луневацев тащите в казарму Дунайской дивизии, всадите штыки в этих зазнавшихся франтов, пожелавших быть королями... Всех перебьем!

Мне дали коляску, чтобы я ехал в тюрьму Нейбоша.

– Уеденье или смрт! Живео Србия!

Оркестры, двигаясь по улицам, выдували из труб:

Дрина! Вода течет холодная,
Зато кровь у сербов горячая...

Дрина для сербов – как Волга для нас, русских.

(Существенное примечание: советские историки долгие годы обходили стороной майские события в конаке Белграда, и лишь в 1977 году была сделана попытка осмыслить все то, что повернуло Сербию от Австрии лицом к России.)

7. Еще лучше быть русским

Сколько я прожил на белом свете, всегда умел держать себя в руках, а истерика со мною случилась только однажды в жизни – именно в тени башни Нейбоша, когда мимо меня скорбною чередой прошли узники, освобожденные ночным переворотом в конаке. Они проследо-

вали передо мною, молодые и старые, мужчины и женщины, но среди них не оказалось моей матери... Последнего узника вели под руки, он не мог идти сам, измученный страданиями, и, узнав во мне русского, протянул обожженные руки:

– Друзе! Еще час назад меня пытали... на огне!

Вот тогда я зарыдал. Меня отвели в канцелярию тюрьмы, дали выпить из фляжки ракии. Я сел на лавку и безучастно смотрел, как на полу в страшных корчах помирает начальник тюрьмы.

– Пристрелите его, – сказал я, испытав жалость.

– Сам подохнет, – отвечали мне сербы...

Из тюремных ведомостей выяснили, что моя мать сумела доказать русское подданство, намекнув на свое «высокое» положение в Петербурге; напередняки, побаиваясь осложнений с Россией, тишком вывезли ее на другой берег Дуная, и там, в австрийском Землине, опять затерялись ее следы...

Для меня это был удар – непоправимый! Все стало безразлично. Даже разговоры, которые я слышал в уличной кафане:

– Кажется, дипломаты уже покидают нашу столицу. Сейчас хорошо будет жить тот, кто сумеет хорошо спрятаться...

В знак протеста против убийства королевской четы посольства спешно покидали Белград – все, кроме русского и венского. Австрийский посол Думба угрожал сербам мобилизацией пограничных округов, дабы навести в Сербии «законный порядок», но полковник Апис заверил Чарыкова, что отныне Сербия вручает свою судьбу в руки дружественного русского народа. Очевидно, в Вене сообразили, что любое передвижение их войск сразу же вызовет быструю мобилизацию Киевского и Одесского военных округов... Интервенция не состоялась!

Я навестил русское посольство, занимавшее плоский одноэтажный дом, напоминавший дачу средней руки где-либо в Гатчине или в Павловске. Чарыков, кажется, принял меня за туриста, встретив в кабинете такими словами:

– Немедленно возвращайтесь на родину. Вряд ли вы понимаете, что тут произошло... Не успели выкинуть Драгу в окошко, как из Софии примчались три офицера, ибо в Болгарии созрел заговор, подобный сербскому. Теперь в Софии готовят убийство правителя Фердинанда Саксен-Кобургского, сербы с болгарями объединят свои армии, а в мире возникнет Балканская федерация всех славян Европы, в которую заманят и чехов со словаками, вырвав их из-под власти Габсбургов.

– Разве это плохо? – спросил я.

– Это... опасно, – отвечал Чарыков, – ибо заговор способен выйти за границы Балкан, а цареубийство может превратиться в главное орудие славянской политики...

(Впоследствии мне довелось читать секретный отчет о событиях в конаке, где Чарыков говорил о возросшем авторитете Драгутина Аписа, о том, что республиканские идеи имеют быстрое распространение в народе, интеллигенция и радикально настроенные офицеры готовы примкнуть к социалистам, дабы дворцовый переворот использовать в целях создания Балканской республики.)

Чарыков еще раз повторил мне, чтобы я покинул Белград, а мой паспорт давно лежит в столе советника посольства...

Советник русского посольства носил тройную фамилию – Муравьев-Апостол-Коробьин, а разговаривал он со мной грубо:

– Если паспорт у вас до Парижа, так какой же леший занес вас сюда? До нас уже дошли слухи, что в окружении негодяев-убийц был замечен и русский студент... Это не вы ли?

– Простите, но я уже коллежский секретарь.

Я сказал, что если меня и видели среди офицеров, так это простая случайность. Советник был крайне раздражен:

– Все несчастья происходят оттого, что русские разучились сидеть дома возле родимой печки, а шляются по всему миру, как бездомные цыгане. – Муравьев-Апостол-Коробьин как бы нехотя возвратил мне паспорт. – На всякий случай предупреждаю: за любое, пусть даже случайное, вмешательство в дела иностранной державы придется нести суровую ответственность.

– Я к ним непричастен, – был мой ответ.

Муравьев-Апостол-Коробьин поверил моей невинности и, сменив гнев на милость, немного порассуждал как политик:

– Обреновичи были для Сербии – словно Борджиа для Италии, но Борджиа при всех их пороках все-таки стремились объединить Италию, тогда как Обреновичи Сербию расчленили... Петербургу есть над чем поломать голову!

Я покинул посольство в неясной тревоге за свою судьбу. Толпа возле конаки еще не расходилась, ожидая результатов анатомического вскрытия короля и королевы. А напротив стенки солдатских батальонов уже выстраивалась демонстрация студентов и рабочих. Как я понял из их речей, они представляли нечто новое в истории Сербии – партию социалистов. Между ними прохаживался Петар Живкович, его спрашивали – почему Обреновичей решили заменить династией Карагеоргиевичей?

Живкович объяснял в таком духе:

– Если вам нужна демократия, так мне нужна великая Сербия! Если престол в конаке будет пустовать, из-за Дуная сразу навалится армия Франца Иосифа, со стороны Македонии нас будут рвать по кускам турки... О чем спорить? Телеграмма в Женеву уже послана. Петр Карагеоргиевич выезжает в Белград...

Я даже не успел проститься с Аписом. На память о нем я оставил себе два австрийских револьвера, которые и рассовал по карманам. Молодости свойственна любовь к оружию, которое как бы дополняет недостаток наших моральных сил.

Скоро все пережитое мною в Трансваале и Белграде покажется мне лишь веселой садовой площадкой для детских игр. Впереди меня ожидало более серьезное испытание...

.....

За окном раскинулись мадьярские долины, паслись стада, в услужение баранов пастухи играли не на рожках, а на скрипках. Моими соседями по купе оказались немцы – швабы, обсуждавшие результаты анатомического вскрытия Александра и Драги, о чем уже подробно писалось в газетах. Драга, смолоду ведя безнравственную жизнь, давно была неспособна к беременности, а лобовая кость Александра Обреновича имела феноменальную толщину, что и объясняет его жестокое тупоумие, вызванное постоянным давлением лобовой кости на мозговые центры.

Швабы, прочтя об этом, стали ругаться:

– Конечно, если хотят утопить собаку, то всегда говорят в оправдание, что у нее была чесотка... На самом же деле Обреновичи – благороднейшие люди, а вся нация сербов – это сплошь убийцы, торгаши и пьяницы! Их надо раздавить...

Я пришел в себя лишь на венском «Остбанхоффе». Все было писано вилами по воде, и я решил прежде ознакомиться с газетами. Авторитетная «Kulnische Zeitung», имевшая давнюю славу политического рупора Германии, писала конкретно: убийство в конаке сотворено исключительно в целях русской политики, дабы австрийское влияние в Белграде подменить русским влиянием; уничтожение династии Обреновичей сделано на русские деньги и русскими руками в сербских перчатках (увы, не лайковых).

Наконец, я развернул русский «Правительственный Вестник», прибывший в Вену ночным экспрессом. Народная Скупщина избрала на престол Петра Карагеоргиевича единогласно! Этого и следовало ожидать. Николай II, принося ему свои поздравления, тут же призывал «подвергнуть строгим карам клятвопреступников, запятнавших себя вечным позором царевбий-

ства». Это меня даже не удивило: монарх всегда вступает за монарха. Но удивило меня другое: все русские, оказавшиеся в Белграде, обязаны срочно вернуться в отечество; замешанные же в тронном перевороте должны предстать перед судом – как убийцы... Конечно, король Петр не позволит упасть даже волосу с голов офицеров-заговорщиков, доставивших ему престол, но меня, русского, вернись я домой, могут привлечь к ответу.

«Надо как-то выкручиваться», – сказал я себе.

Возле меня оказался пожилой, бедно одетый венец. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его... уши. Всю жизнь терпеть не мог длинноносых, лопоухих и шлепогубых. Но у этого оригинала уши были – как две калоши, неудачно прилепленные к его плоскому черепу. Заметив в моих руках свежий номер «Правительственного Вестника», он спросил:

– Вы, очевидно, русский?

– Честь имею быть им...

Совсем не расположенный к беседам, я бродил по улицам Вены, обдумывая свое дальнейшее поведение. Если до властей в Петербурге дойдет мое участие в белградских событиях, беды не миновать. В уличном кафе я позавтракал сметаной и сдобной булочкой. Помню, что обратный путь на трамвае поразил меня своей дороговизной. Я изнывал в сомнениях. Требовалось твердое решение, и это решение я окончательно принял: вернуться!

Кассир вокзальной кассы, оказывается, запомнил меня.

– Так куда же вы теперь? – спросил он с ухмылкой.

– Билет первого класса до Санкт-Петербурга.

– Через Киев или через Варшаву?

– Чем скорее, тем лучше.

– Тогда извольте ехать через Варшаву...

В любом случае я желал вернуться на родину, идя навстречу опасности. Варшавский поезд отходил поздно вечером, весь день я бесцельно блуждал по Вене, утешая себя словами: «Хорошо быть русским, да нелегко...»

К отходу поезда на перроне толпилась публика, слышалась русская и польская речь, среди провожающих я снова заметил человека с ушами-калошами. Меня, не скрою, даже передернуло от брезгливого отвращения к его уродству.

– Вы, кажется, надзираете за мной? – спросил я.

– Не имею надобности, – ответил он. – Если бы я следил за вами, так вы бы никогда меня не заметили. Напротив, я желаю найти порядочного человека из русских, который бы проездом через Варшаву оказал мне крохотную услугу...

В печальных глазах его было что-то жалкое, но в то же время и трогательное, как у бездомной, не раз битой собаки. Он показал мне конверт без марки, и я успел прочитать варшавский адрес: улица Гожая, 35, для пани Желтковской.

– Поезд стоит в Варшаве сорок минут, – сказал венец, – а улица Гожая неподалеку от вокзала. Не могли бы вы...

– А почему вы, сударь, не доверяете почте?

В глазах неопрятного старика мелькнули слезы:

– Вена очень дорогой город, где бедняку прожить трудно. У меня нет денег даже на почтовую марку, и потому я не раз пользовался услугами русских пассажиров. Все они так добры...

В этот момент мне стало жаль этого человека. В самом деле, виноват ли он, если природа наградила его такими ушами?

– Хорошо, сударь, я ваше письмо доставлю...

Поезд в Варшаву пришел рано утром. Я быстро отыскал Гожую улицу и нашел дом 35, нижний этаж которого украшали нарядные вывески – колбасные лавки и фотоателье. Но в подъезде этого дома меня неожиданно встретил вежливый господин.

– Пардон, – сказал он, приподняв над головой котелок. – Вы случайно не ищете ли квартиру пани Желтковской?

– Да. И буду вам благодарен, если...

Я скрючился от боли: удар кулаком пришелся ниже пояса. Сзади шею обвила чья-то сильная рука, и мои ноги поволоклись по булыжникам, словно ватные фитюльки у дешевой куклы. Я не успел опомниться, как очутился в коляске с задернутыми шторами на окнах, – кони понеслись. Вежливый господин извлек из карманов моего пиджака два австрийских револьвера:

– Вот что у него... сволочь поганая!

Чувствительный к грубости, я наивно спросил:

– Куда я попал? Вы – полиция, жандармы или воры?

– Бери выше – мы из контрразведки...

А я и не знал, что такая в России существует.

Постскриптум № 1

До января 1903 года Россия не имела контрразведки, зато, помимо уголовного сыска, она обладала политической полицией (охранкой), созданной для борьбы с революционерами. Охранка имела немало заслуг перед монархией, достаточно назвать Евно Азефа, внедренного в партию эсеров, или Романа Малиновского, входившего в состав ЦК РСДРП.

Русский обыватель, не мудрствуя лукаво, почитывал на сон грядущий трехкопеечные выпуски о подвигах Ната Пинкертон или Ника Картера, но, отложив книжку, он не догадывался, что подле него происходит таинственная борьба, перед которой меркнут самые дикие криминальные вымыслы. До того как в России была создана контрразведка, поимка иностранных шпионов была делом случая или частной инициативы бдительных граждан. Внутри государства постоянно оперировала громадная армия иностранных агентов, никем не выявленная и творившая свои черные дела как хотела – нагло и безбоязненно.

Здесь не место размусоливать эту тему. Скажем коротко. Сначала при военном министерстве образовался особый «Разведывательный отдел Генерального штаба», от которого отпочковалась молодая русская контрразведка, сразу же заявившая о себе смелой и напористой работой. Однако на первых порах контрразведка еще не могла отказываться от услуг министерства внутренних дел, и потому иногда невозможно провести четкие границы между самой контрразведкой Генштаба, политической охранкой и департаментом полиции...

Разведка – в точном ее назначении – раньше велась военными атташе при столицах враждебных государств, и атташе работали на свой страх и риск, имея немало удач и досадных провалов. Казань была единственным городом в России, где позволялось жить офицерам генеральных штабов Германии и Австрии, куда они приезжали под видом изучающих русский язык. С ними поступали цинично и просто. Этих явных шпионов сознательно спаивали, после чего, опутав их долгами, перекупали на свою сторону.

Вена боялась Киевского военного округа, где разведкой против Австрии заправлял умный и энергичный капитан Михаил Сергеевич Галкин. Германия остерегалась Варшавы, где агентурным «бюро» руководил полковник Николай Степанович Батюшин, о котором ходили легенды. Однажды на маневрах присутствовал немецкий император Вильгельм II, сопровождаемый царем. Батюшин, недолго думая, забрался в карман германского кайзера, вытащил оттуда записную книжку, быстро перефотографировал ее и снова вложил в карман кайзера. Ни сам «Вилли», ни сам «Ники», ни их многочисленная свита даже не заметил этого...

Именно в штабе Варшавы был разоблачен русский полковник по фамилии Гримм, за деньги продававший Вене и Берлину планы русской мобилизации. Как бы в отместку за это предательство Гримма, полковник Батюшин перекупил «на корню» офицера-шпиона Б. Ройя, который и сделался главным осведомителем русского Генштаба о вооружении германской

армии. Кстати, портфель от Гримма попал в руки Рэдя, который переправил его в Петербург, а взамен подлинных планов русской мобилизации подложил планы фальшивые...

Но после переворота в конаке Белграда разведке России выпало немало новых хлопот: следовало оберегать сербов от возможной агрессии Австро-Венгрии. По городам и весям Галиции, где стояли «под ружьем» австрийские гарнизоны, стали бродить с переносными станками точильщики, предлагавшие жителям точить затупившиеся ножницы, серпы и кухонные ножи. Венская контрразведка не сразу спохватилась, что в этих «мужиках», таскавших на своем горбу тяжелые абразивные круги с ножным приводом, затаились русские офицеры-разведчики...

Как и в каждой тайной борьбе, жертвы были с обеих сторон, были свои трагедии, были свои мученики. Шпионы, работавшие из-за денег, перепродавались дешево, становясь «двойниками» и даже «тройниками», зато в тюрьмах годами томились подлинные агенты разведки – офицеры русской армии, которые сознательно шли на любые муки ради своих патриотических убеждений, ради большой и неподкупной любви к родине. На этом мы и закончим нашу Первую главу.

Глава вторая. Разбег над пропастью

Пусть в его биографии, горькой и необычной, многое останется неизвестным, выдумывать я ничего не хочу и не буду...
Сергей Тхоржевский

НАПИСАНО В 1936 ГОДУ:

...портрет К. Е. Ворошилова на сцене подсвечивался специальным прожектором, а в его речи можно было выделить слова:

– Война теперь будет, товарищи, очень грозной, очень жестокой, с применением самых страшных, невиданных доселе нигде и никогда в мире средств.

Мне сразу вспомнилось, что еще в 1871 году – сразу после Седана! – русский канцлер князь А. М. Горчаков публично заявил, что предел вооружения в войне французов с немцами был достигнут, а совершенствовать оружие далее – это преступление против человека. Наконец, на маневрах 1909 года, пресытившись зрелищем мощных гаубиц и грохотом пулеметов, даже Альфред Шлифен оторопел, заявив кайзеру: «Все мыслимое и немислимое нами уже изобретено, и развивать военную технику далее – это абсурд; всевышний будет на стороне многочисленных стрелковых дивизий...» В самом деле, где же конец?

5 мая 1936 года моторизованные дивизии Муссолини вошли в Аддис-Абебу. Странную позицию заняли европейские державы; в газетах Англии и Франции пишут о «неполноценности» абиссинского государства, как бы заранее оправдывая правомочность Италии, более цивилизованной, убивать и грабить. Но судить о «неполноценности» могут только невежды в истории, из которой известно, что арапы-эфиопы – наследники древнейшей цивилизации мира... Я прослушал по радио речь абиссинского негуса Хайле Селассие, который на пресс-конференции в Лондоне рассказывал о том, как вполне цивилизованные чернорубашечники Муссолини душили его народ в облаках иприта:

– Мы бросали винтовки и закрывали глаза. Едва заметный дождик осыпал нашу армию. В сражении при Макале погибло столько людей, что у меня не хватает мужества назвать их число. Мой народ умел голыми руками останавливать фашистские танки, но мы оказались бессильны в облаках отравляющего нас газа, который неслышным дождем опускался на наши тела, наши посевы, наш скот и наших детей... Нас буквально ослепили ипритом, на телах появились белые пятна, как от проказы, а через двадцать минут наступала смерть при явлениях тяжелого ожога. А ведь мы, – заключил негус, – все были босиком!

Мне все противнее вылавливать из эфира голоса радиодикторов Рима или Берлина, надоело присущее им бахвальство: нет уже просто решений дуче, а есть «исторические решения» Муссолини, уже не стало просто речей Гитлера, зато есть «речи фюрера, имеющие историческое значение», и, наконец, все, что ни делается, все обязано войти в «анналы истории». Когда потомки разгребут вилами эти анналы, сколько навоза они обнаружат на этих помойках истории.

Итальянский фашизм и германский национал-социализм, хотя и сомкнули свои ряды, но все-таки идут пока самостоятельно. Муссолини еще покрикивает в сторону Берлина, считая Гитлера лишь выскочкой, примазавшимся к его идеям. В своих лекциях я постоянно твержу об агрессивности Германии, хотя мне и пытаются возражать: мол, немецкий пролетариат не станет воевать с государством победившего пролетариата, а мы будем бить врагов на его территории, побеждая его малою кровью. На это я отвечаю, что речи наших оптимистов-ораторов не всегда согласованы с мнением военных специалистов:

– А бескровных войн не бывает! Вас приучают в Академии только наступать, но плохо, что вы не знаете законов отступления. Между тем искусство войны оборонительной зачастую

сложнее войны наступательной. В отходе Баркляя-де-Толли и Голенищева-Кутузова был заложен более здравый смысл, нежели в безумном уповании Наполеона непременно побывать в Москве...

Гитлер еще скорбит о Версальском договоре, как об удавке, намотанной на шеи всех немцев. Что за чушь! Ведь если разобраться, то Версаль нисколько не ущемил Германию в ее естественных границах, немцы полностью сохранили свое национальное единство. Но почему они с 1919 года ревут, как стадо быков, приведенных на бойню? Мне кажется, в этом вопросе имперские понятия немцам стали дороже национальных, и вот именно этим широко пользуется Гитлер... Сейчас очень беспокойно в Испании, а Гитлер уже проговорился, что для полноты счастья ему желательно видеть свастику в Вене и даже в Праге!

На очередной лекции слушатели спросили меня, как итальянская экономика справляется с расходами на военные нужды.

– Она и не справилась! – отвечал я. – Там проводится анекдотическая кампания по сдаче золотых обручальных колец, с холостяков дерут страшные налоги. Школьников гоняют по квартирам, чтобы они отвинчивали от дверей бронзовые и медные ручки. Вряд ли есть практический смысл в том, чтобы готовить искусственный каучук, если он в пять раз дороже привозного! Наконец, Муссолини, на мой взгляд, не обладает юмором. Иначе он не сдал бы на переплавку три тонны (!) своих бронзовых бюстов, повершив тем самым всех сборщиков утильсырья...

Сейчас по углам ходят тихие пересуды об отравлении Максима Горького врачами Левиным и Плетневым. Ежов, помощник Ягоды, доказывал, что «враги народа» пропитывали ядами обои в комнате «великого пролетарского писателя». Странно!.. Да простит мне бог, но «пролетарским» писателем я Горького никогда не считал, а его «Мать» – слабейшая из вещей, им написанных. А как понимать убийство сына Максима Горького теми же «врагами народа», если все в Москве знают, что он попросту сгубил себя алкоголем. Сейчас в колхозах царит почти крепостное право, какого крестьяне не ведали при помещиках, а в стране два хозяина – сам Хозяин и его ОГПУ, а кто там важнее – сам черт не разберет. Интересно, решится ли наш Хозяин пустить в переплавку свои многочисленные бюсты и монументы?..

.....

Летом 1936 года начался мятеж Франко в Испании. В эти тревожные дни меня попросили использовать в своих целях допрос немецкого шпиона. Это был русский. Отлично законспирированный, он служил в наших гарнизонах Белоруссии, и долгое время ни у кого даже не возникало мысли, что это отличный агент гитлеровского абвера. Прежде меня ознакомили с его делом:

– Заодно посмотрите – не ваш ли это приятель?

Я узнал его сразу: это был капитан Владимир Вербицкий, как и я, окончивший Академию русского Генштаба. На допросе я нарочно сидел за его спиной и по напряжению спины чувствовал, как ему хочется обернуться, ибо всей шкурой Вербицкий ощутил опасность для себя не столько спереди, сколько сзади... Во время допроса он держался твердо, ловко выскальзывая из логических «ловушек», и следователям это надоело.

– Обернитесь, – разрешили Вербицкому.

Наши глаза встретились, и он понял, что проиграл. Но проиграл не сотню рублей в картишки, а продул всю свою жизнь. При этом ожесточился, осыпая меня грубыми оскорблениями.

– Где ж тебе еще быть? – кричал Вербицкий. – Предатель, гадина, мразь... Я ведь не забыл, что тебя выкинули из Генштаба в дальний гарнизон за то, что ты не вернул долгов, жил на деньги своих любовниц... Только таких мерзавцев и держат большевики! Жаль, что тебя не придушили еще раньше...

Я остался спокоен, а следователи сказали:

– Мы вас покинем. Вы тут сами разберитесь...

Со своего стула я перебрался за стол:

– Сначала о моей совести. Я не полез в партию большевиков и до сих пор навещаю церковь, о чем, кстати, мои сослуживцы знают. Но именно совесть и разделила нас с тобой: я остался честным офицером российского Генштаба, а ты служишь германскому, точнее – гитлеровскому абверу... Разве не так?

– Не старайся поставить комару клизму, – в раздражении отвечал Вербицкий. – Все равно я ничего тебе не скажу.

– Не надо! Говорить стану я, а ты слушай. И пусть мои слова оживят твою память, а возможно, пробудят и твою угасшую совесть русского человека... Тебя вытащил из эмигрантского болота полковник Бискупский, когда-то бывший мужем очаровательной Насти Вяльцевой, а сам Бискупский давно замечен в окружении палача Гимmlера. Затем ты оказался в «Гроссмишеле», что в десяти верстах от Кенигсберга, где и повторил свою науку в школе шпионов «Абверштелле». После оказался на улице Магазинкату, дом восемь, в Хельсинки, откуда однажды финский полковник Меландер, лично подчиненный Карлу Карлычу...

– Хватит! Я не знаю никаких Карлов Карлычей.

– Его все знают – это барон, Маннергейм, который тебя и меня обучал когда-то в манеже верховой езде. Вспомни, наконец, как мы вместе ломали кости на парфорсной охоте в «Поставах» под Вильной. Так вот, этот самый полковник Меландер через свое «окно» и пропихнул тебя к нам...

– А хоть поджаривай – я ничего не знаю!

– Зато мы уже знаем. Ты провален. Но в случае провала тебе приготовлено обратно «окно», и ты не строй из себя дурака.

– Хорошо, – усмехнулся Вербицкий, – назови мне это «окно», и тогда я согласен остаться в дураках.

– Твое запасное «окно» в тундрах Мурманской области, в бывшей Лапландии, где лопари, к сожалению, еще плохо понимают значение границы, их олени стада гонимы из Финляндии к нам и обратно. С таким стадом ты должен пройти до Рованиеми, откуда точно по расписанию ходят на юг маршрутные автобусы...

– Ты много знаешь! – ответил Вербицкий, и я ощутил его растерянность. – Допустим, я сел в автобус. Что дальше?

– Далее ты из Хельсинки рейсовым пароходом доберешься до Кенигсберга... Может, назвать улицу и номер дома?

– Зачем?

– Мы оба проверим нашу стареющую память.

– Валяй, сволочь! Мне теперь все равно.

На клочке бумаги я написал: «Кенигсберг, улица Штейндамм, дом № 44, пансионат фрейлен Данти Дана для холостых мужчин».

– Убедился? – спросил я Вербицкого, когда он прочел этот адрес. – Так вот, – продолжал я, подходя к главной цели этого вопроса. – Когда ты прибудешь на место, не забудь сказать майору абвера Целлариусу, что я, старый агент российского Генштаба, а ныне ответственный работник Генштаба советского, согласен передавать абверу интересующие его сведения...

Вербицкий вдруг вскочил и хотел вцепиться мне в горло. Я отбросил от себя его руки, просил сесть обратно.

– Успокойся! – сказал я ему. – Ты же сам понимаешь, что ждет тебя в будущем... Может, сейчас тебе предоставляется последний шанс исправить трагическую ошибку, которую ты совершил. Бискупский утащил в эмиграцию бриллианты Вяльцевой, а что утащил ты, кроме штанов на себе? Конечно, кое-кто за кордоном и живет, приплясывая. А тебя завербовали в тот момент, когда в кармане не было даже пфеннига на кружку пива...

Вербицкий разрыдался. Это был кризис. Я не мешал ему. Еще продолжая рыдать, он просил меня:

– Ну, ладно. Я не скрою, что ты обставил меня хорошо. Но я продолжаю не верить тебе... Так хотя бы ради нашего прошлого, ради России, ответь прямо – на чем я попался?

– Возможно, ты никогда бы не попался, ибо прошел две отличные школы – русскую и германскую. Но ты слишком стал выделяться в своем гарнизоне неестественным фанатизмом, слишком горячо распинался в любви к Сталину, уже больно правильно и крикливо хвастал успехами на партийных собраниях... Ты просто потерял чувство меры, необходимое любому агенту.

– Скажи! Только честно... когда меня шлепнут?

Я позвонил, чтобы в кабинет принесли чай и печенье. После чего вручил Вербицкому бесплатную путевку на две недели в санаторий имени Дзержинского – на берегу реки Луги:

– Красивые места! Для нас памятные тем, что мы еще в пору академической младости проводили там триангуляцию на местности. Только чухонские комары донимали... Помнишь?

– Счастливые времена! – оживился Вербицкий, и лицо его даже порозовело. – В тамошних лесах тебе попала странная колдовская усадьба, где ты танцевал с привидением.

– Да, это история странная... Думаю, после отсидки в тюрьме и допросов тебе следует отдохнуть, – сказал я. – Через неделю я сам навещу тебя в санатории. Тогда и продолжим очень крупный разговор о моих заслугах абверу...

Потом следователи спрашивали меня – почему Вербицкий так пылко обвинял меня в пьянстве, распутстве и прочих грехах.

– Неужели все это можно приписать вам?

– Это правда, – не скрывал я. – Но об этом периоде жизни я расскажу как-нибудь в другой раз.

.....

...новости из Германии. Четыре миллиона мальчиков будут носить ножи, а подростки из организации «гитлер-югенд» не расстанутся с боевыми кинжалами. В классах немецких школ снимают распятая с приказом – повесить на их место портреты фюрера. Символ мученичества Христа можно понять, но почему лопухий Фриц или Ганс должен постоянно созерцать перед собой хамскую рожу Гитлера? Вот еще новость. Гитлер недавно перед дипломатами жаловался, что немцы задыхаются в тесноте:

– Скоро мы будем толпиться на территории Германии подобно пассажирам в переполненном автобусе. Теперь на одну квадратную милю в рейхе приходится уже триста сорок жителей.

– Если это так ужасно, – отвечали ему, – то почему же вы поощряете часто беременных женщин? Почему платите роженицам за третьего ребенка и, наконец, не жалеете пособий за рождение четвертого ребенка в семье?

Гитлер не нашелся с ответом, но эту беседу с дипломатами запретили публиковать в немецких газетах.

Сейчас у меня все по-старому, ничего нового. Вербицкий через «окно» пропущен за рубеж и, как мне стало известно, уже был принят в Миккеле, на личной даче Маннергейма, затем появился в Кенигсберге... Наверняка он доложил Целлариусу о моем желании «сотрудничать» с германской разведкой, которую я весьма охотно насыщал бы разной чепухой о вооружении РККА до тех пор, пока абвер не облопался бы ею, как удав.

Но пока немцы в Москве не ищут контактов со мною. Вчера в театре я сидел невдалеке от ложи, которую занимали члены германского посольства. Я дважды перехватил внимательный взгляд военного атташе. В антракте он, кажется, даже порывался подойти ко мне, но почему-то не сделал этого...

Вывод один: следует ожидать возвращения Вербицкого!

1. Чужое письмо

Итак, я угодил в лапы русской контрразведки... В большом кабинете меня ожидал немолодой армейский полковник (уже с брюшком), и он глядел на меня с презрением – как барышня на сороконожку. Перед ним выложили два револьвера, изъятые из моих карманов при аресте на Гожей улице Варшавы. Встав напротив окна, он проглядел их стволы на свет:

– Да-с... где ты, гнида, успел их так закоптить?

Эта «гнида» возмутила меня:

– Прошу обращаться ко мне с уважением. Я не только столбовой дворянин, но имею чин десятого класса.

– Так и что? Молиться нам на тебя? Лучше скажи сразу, за сколько продан сам и продал матушку-Россию?

Я решил, что мой арест связан только с событиями в Белграде, но полковник о делах в конаке даже не заикался.

– Клянусь, я не знаю за собой никакой вины.

– Все так начинают свои молитвы... Но мы ущучили тебя еще на вокзале Вены, где ты дважды любезничал с этим вислоухим обормотом... Вынь письмо! Положи его на стол.

Я выложил письмо без марки и свой паспорт.

– Парижанин? – усмехнулся полковник, глянув в него.

Тут появился тот самый вежливый господин, что принимал участие в моем аресте. Но теперь, переодетый в мундир штабс-ротмистра, он источал нежный малиновый звон шпорами. Не обращая на меня внимания, он по-домашнему присел на подоконник. В его руках оказалась вязальная спица, расплющенная на конце. Ротмистр просунул ее в угол конверта, намотал письмо на спицу, аккуратной трубочкой извлекая его наружу. Бегло просмотрев текст послания, он сказал полковнику:

– Ну, я пойду... подзаймусь химией.

– Что там? Щавель или пирамидон?

– Да нет. Скорее, опять мазня для сведения бородавок.

Он удалился, названивая шпорами. Полковник спросил:

– Когда тебя успели завербовать? (Я пожал плечами.) Ну, молчи. Надо же собраться с мыслями... А где ты так много палил из револьвера, кстати, австрийского производства?

Я сказал, что из Парижа завернул в Белград, чтобы развлечься, а в «Кичево» был лакей, хороший парень, состоящий в «Боб-клубе», вот мы с ним и поехали к Шести Тополям на Саве, где спортивный тир, там и палили себе на здоровье.

Моя информация вызвала злорадный смех:

– Неужели мы поверим, что, приехав в Белград, ты с первым же лакеем кинулся со всех ног в тир, чтобы стрелять из двух револьверов по мишеням? Наконец, чтобы развлечься, из Белграда ездят в Париж, а ты из Парижа поехал в Белград... Скажи проще: Париж – для отвода глаз, а на вокзале в Вене тебя ожидала встреча с майором Цобелем.

– Я не видел никакого майора!

– Зато тебя с ним видели... Ладно. Посиди.

Не хотелось верить, что вместе с чужим письмом я положил за пазуху ядовитую гадину, которая меня же столь сильно ужалит. Я был отведен в подвальную комнату без окон, поразившую меня отсутствием клопов, столь необходимых для тюремной обстановки. Через день меня снова отконвоировали по лестнице в кабинет, где – помимо полковника с ротмистром – присутствовал и неизвестный мне человек в штатском.

На этот раз полковник разговаривал вежливо:

– Мы допускаем, что нечаянно, но все же вы сыграли весьма некрасивую роль. Этот венец с большими ушами – майор Ганс Добель из «Хаупт-Кундшафт-Стелле»... Догадываюсь, что ранее вы никогда даже не слышали о такой богадельне?

– Нет.

– Так называется австрийская разведка. И не вы первый попались на эту удочку. К сожалению, наши головоотяпы, бывающие в Вене, оказывают услуги Цобелю, с самым невинным видом переправляя письма для тайной агентуры, враждебной России. Надеюсь, вы не очень сердитесь за наше грубое обращение?

Господин в штатском представился:

– Подполковник Лепехин из Киевского управления... Именно ради вас я приехал сегодня утром в Варшаву, ибо ваше дело не так-то просто, как это кажется. – Он показал мне письмо, уже проявленное в лаборатории: между зеленоватых строчек самого невинного содержания о погоде в Вене и ценах на продукты явно проступали рыжие буквы тайного шифра. – Писано симпатическими чернилами марки «F», которые в аптеках выдаются за средство от выведения бородавок. Мы расшифровали, что в тексте изложен запрос о передислокации наших артиллерийских парков из Гомеля в Полтаву... Теперь вы поняли, молодой человек, сколько хлопот вы доставили нам и себе этим письмом?

В кабинет принесли ужин с вином и свежей клубникой. Меня пригласили к столу. Лепехин сказал, что, пока я был под арестом, департамент полиции «просветил» меня со всех сторон:

– О вас еще со скамьи «Правоведения» сложилось мнение как о будущем светиле российского правосудия. Но у меня к вам вопрос – имя Фитци Крамер ничего не говорит вашему сердцу?

– Поверьте, впервые слышу.

Мне объяснили, что пани Желтковская, владелица фотографии на Гожей улице, служит лишь «почтовым ящиком». А письмо предназначено для госпожи Крамер, кафешантанной певички из Будапешта, которая часто ангажируется в Киеве на летние сезоны, но это письмо тоже не для нее: она передаст его венским шпионам, давно орудующим в Киевском военном округе. В этом случае я мог бы помочь контрразведке их выявить...

Склонность к приключениям, наверное, заложена в моем характере. «Хаупт-Кундшафт-Стелле» – и я! Кто кого?

– Но чем же, господа, я могу быть полезен?

– Вот об этом сейчас и подумаем, – начал Лепехин. – Письму из Вены мы вернем прежний божеский вид, с ним поедете в Киев, где должны повидаться с певичкой. При свидании с Фитци назовитесь курьером от Цобеля. Эта курва, конечно, сделает большие глаза, ибо ждет письмо из «почтового ящика». Но вы скажите, что на Гожей заметили «хвост», а письмо следует передать срочно, этим и объясняется ваше появление в Киеве.

Нашу милую беседу прервал ротмистр:

– У венского курьера Фитци сразу запросит денег.

– В этом случае, – продолжил Лепехин, – вы предложите ей свидание где-либо в публичном месте, обещая вручить письмо и деньги. Наверняка ее где-то поблизости будут страховать венские агенты, а мы, в свою очередь, тоже не станем витать в облаках и окажемся возле вас...

Когда мы расходились от ужина, подполковник Лепехин проводил меня и наедине даже обнял – почти дружески:

– Об этом пока не знают даже в департаменте полиции, но контрразведке уже известно, что вы делали в Белграде...

Моя реакция выразилась в дурацком смехе.

.....

Прибыв в Киев, я профланировал в сад-буфф, где увидел Фитци Крамер, которая, задирая перед публикой шлейф своего платья, обдала меня каскадом игривых намеков. Она пела:

Кот пушистый, серебристый!
С красным бантом,
Ходит франтом.
На крышах он мяучит,
В подвалах кошек мучит...

После концерта мы встретились за кулисами; вблизи Фитци показалась мне обворожительной в своей греховности. Я вкратце объяснил ситуацию с Гожей улицей, где меня ожидала опасность, но Фитци, не испугавшись, просила вручить ей письмо.

– И... деньги! – вдруг потребовала она.

– В какой сумме гонорар вам обещан?

– Триста... нет, пожалуй, чуть больше.

Я ответил, что такие деньги боюсь иметь при себе:

– Передам при встрече. Где и когда угодно?

– Я постоянно завтракаю в «Ротонде» на Бибииковском бульваре. Напротив же «Ротонды» магазин меховых вещей Габриловича, через стекло витрины вы сразу увидите меня...

Об этом условии я спешно известил офицеров контрразведки. Лепехин ответил, что действовать следует демонстративно, дабы поймать шлюху с поличным, а заодно надо вызвать к себе внимание возможных агентов венской разведки. С такими словами он вручил мне ассигнацию в 500 рублей:

– Скажите Фитци, что ей полагается лишь двести.

– Но кто же мне в кафе разменяет сразу полтысячи? Ведь на такие деньги можно дом построить.

– В том-то и дело, что разменять не смогут. Кельнер, наш агент, скажет: «Здесь вам не банк!» – и посоветует перейти улицу, чтобы вы сами разменяли ассигнацию на мелкие купюры в меховом магазине Габриловича. Вы так и сделаете, после чего считайте себя свободным. Остальное – наша профессия...

Утром следующего дня я встретился с Фитци в «Ротонде», где певичка завтракала топленым молоком с гренками. Посетителей было мало: в отдалении сидел грузный человек с тросточкой, по виду скучающий маклер или игрок на бегах, у окна с видом безденежного франта просматривал газеты знакомый мне штабс-ротмистр. Я передал женщине письмо и сказал: – Могу вручить вам только двести рублей. Поманив лакея, я показал ему полтысячную купюру.

– Здесь вам не банк! – ответил он, как положено. Вслед за этим я выразил желание пересечь Бибииковский бульвар, дабы разменять деньги в кассе магазина Габриловича. Но рука Фитци вдруг ловко вырвала у меня ассигнацию:

– Знаю я эти фокусы! Я ведь тоже стою немалых денег...

И письмо от Цобеля и все мои деньги мигом исчезли в ее ридикюле. Я невольно глянул в сторону ротмистра, но он глазами показал мне свое полное недоумение. Лакей тоже понял, что наша пьеса играется с отсебятиной, и не нашел ничего лучшего, как подсчитать стоимость заказанного мною завтрака:

– С вас тридцать восемь копеек. Можете не проверять...

Фитци уже направилась к выходу из «Ротонды». Ротмистр выжидал. А я как последний дурак сидел с раскрытым ртом. Но в этот момент грузный господин с тросточкой, безучастноковырявший спичкой в зубах, встал и направился ко мне:

– Разрешите, я у вас прикурю. – И, прикуривая, он шепнул по-немецки: – В кафе переодетые «голубые». Разве не видите, что вашу даму уже взяли?

Через окно кафе я заметил, как подол платья певички исчезает в глубине черной кареты. А этот тип со склеротичным лицом наверняка принял меня за своего коллегу из Вены.

Лакей еще постукивал карандашиком по столу:

– Я жду! С вас тридцать восемь копеек...

– Сейчас, – ответил я и схватил агента за глотку.

Но, увы, воротничок на шее венского шпиона, внешне выглядевший гуттаперчевым, оказался стальной пластинкой. Трость взлетела кверху, и она, увы, тоже была не камышовой, а железной. Последовал удар по куполу храма – и я покатился на пол, громыхая падающими стульями. Ротмистр перестал изображать читателя газет: он метнулся через все кафе и сбил агента с ног. Лакей навалился на него сверху, а я, лежа на полу, перехватил руку шпиона с револьвером. Трах! – пуля со звоном высадила зеркальную витрину. Ротмистр уже брякнул наручниками:

– Берем и этого... в черную карету. Готов!

В управлении Лепехин встретил нас упреками:

– Дернул же черт ее выхватить деньги! Откуда знать, что она такая нахалка... Все получилось грязно, как в участке. Одно утешение – быстро. Британские джентльмены считают разведку делом спорта, а в спорте без синяков не бывает...

2. Без объявления войны

Сегодня я встретил на Мясницкой гражданина В., который, старчески опираясь на палочку, нес обывательскую кошелку, а из нее свешивался хвост трески, купленной в магазине. Я узнал этого человека: после всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил с того, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и в покер. Случайная встреча с ним на московской улице надоумила меня записать здесь забавную историю, которая, по всей видимости, может иметь отношение и к моей судьбе...

.....

В числе многих гостей, приехавших в Москву на коронацию Николая II, была и румынская королева Мария – полурусская, полуангличанка. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая своим поведением нравы времен упадка Римской империи. В Москве, как и положено в таких случаях, к ней приставили пажа. Это и был В.; когда он впервые взялся нести пышный трен платья королевы, она живо обернулась, сказав ему по-русски:

– Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?

Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо сношения Петербурга с румынской династией были крайне натянуты, и В. тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходить с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. красиво волочил по улицам саблю и в шесть глотков – на пари! – опустошал бутылку шампанского. Он занимался не столько службою, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. Вскороности задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен «на покаяние».

– Согласитесь, – сказали ему, – вы уже некредитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши. Мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение.

– Что я должен делать? – приуныл В.

– Поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить не жалея, и чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать.

– Я начинаю кое-что понимать, – призадумался В.

– Нас не волнует, что вы понимаете и чего понять не можете. Нам важно, чтобы алчная до удовольствий Вена оценила вас как щедрого повесу, который не знает, куда ему девать деньги.

– Задача увлекательная! – согласился В.

– Не отрицаем. Она тем более увлекательная, ибо в Вене можно узнать все, если действовать через женщин...

В. закурило в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная и продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпином. Однажды, вернувшись под утро в отель, В. застал в своем номере человека, узнав в нем одного из тех, кто его завербовал.

– Среди ваших приятелей, – сказал тот, – недавно появился некий майор Альфред Рэдль... Что можете сообщить о нем?

Непутевый В. оказался достаточно наблюдателен.

– Рэдль, – доложил он, – явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не был богатым, завистлив к чужому благополучию. Подвержен содомскому пороку, который окупается дорого, отчего Рэдль вынужден кредитовать себя в долг.

– Очень хорошо, – заметил приезжий. – Но это все качества отрицательные. А что положительного в этом майоре?

– Он... противен! Вот это самое положительное мое мнение. Но согласен признать, что Рэдль человек необычный. Владеет массой языков. Большой знаток истории и географии. По некоторым его фразам могу вывести заключение, что Рэдль интересуется новинками техники... Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен!

– Он просил у вас денег?

– Даже чересчур навязчив в таких просьбах.

– Вернул ли взятое?

– Нет!

– Чудесно. Давайте ему сколько ни просит.

– Слушаюсь. А теперь я спрошу вас... Рэдль до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать – кто он?

– Начальник агентурного бюро при австрийском генеральном штабе. Работает против нас – против России...

Вскоре В. при свидании с Рэдлем огорченно сказал, что он вынужден вернуться на родину – для продолжения службы.

– К сожалению, – отвечал Рэдль, – я не могу своевременно рассчитаться с вами за свои долги. И мне искренне жаль, что я теряю такого щедрого и приятного друга.

– Не огорчайтесь! – отвечал В. – Скоро у вас появится новый русский друг, который окажется щедрее меня...

На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре же получил от него исчерпывающую характеристику на Рэдля: «Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный. Склад ума мелочный. Вся наружность слащавая. Речь мягкая, угодливая. Движения рассчитанные, замедленные. Глаза постоянно улыбающиеся, вкрадчивые. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник!»

Марченко сначала обворожил Рэдля комплиментами, затем по-деловому припер его к стенке. Рэдль понял, что деваться ему некуда: сейчас он во власти этого русского полковника.

– Ну что ж. Я согласен... помочь вам!

Рэдль продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение о всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом – через, майора Цобеля – тоже попал в сферу внимания Рэдля, и он сразу же предупредил русские власти о моем появлении с письмом на Гожей улице в Варшаве...

.....

После удара тростью по голове я три дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского – той самой отдельной палате, где много позже скончался премьер Столыпин после выстрелов в него Богрова, агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении, близком к умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира.

С лирикой было покончено после визита Лепехина.

– А теперь, – сказал он, – поговорим серьезно... Те два револьвера, взятые у вас при аресте на Гожей, стреляли где угодно, только не в тире у Шести Тополей на берегу Савы.

– В чем вы меня подозреваете, господин полковник?

– В соучастии в убийстве короля Александра и королевы Драги. Потому вам нет никакого смысла возвращаться в Петербург. Если появитесь в столице, дорога в юридический мир будет для вас закрыта... Буду предельно откровенен! – предупредил он меня. – Русской дипломатии этим убийством Обреновичей оказана большая услуга в делах на Балканах. Но вы же сами понимаете, что наши держиморды хотя бы для видимости законности должны наказать кого-то, дабы за границей не думали, что Россия причастна к этому злодеянию... Вот вас и накажут!

– Что же вы мне теперь предлагаете? – спросил я.

– Если вы, образованный правовед, выпущены в свет с чином коллежского секретаря, то – по Табели о рангах – вам обеспечен чин поручика на военной службе.

– Господин Лепехин, к чему эти загадки?

– Никаких загадок! Для начала я предлагаю вам интересную службу в нашей погранстраже. Граница в безобразном состоянии, заборы на ней трещат: лезут через нее все кому не лень. А мы озабочены именно тем, чтобы офицеры погранстражи были из людей образованных, со знанием языков и законов.

– Благодарю. Но я хотел бы подумать.

– Сколько времени требуется вам для размышления?

– Ответ я дам двадцать восьмого июня.

– Я не возражаю... Думайте...

О службе на границе я ничего не знал, и во мне, кроме юношеского интереса ко всему необычному, пробудилось чувство патриота, обязанного послужить отечеству. Теперь-то, умудренный долгим опытом жизни, я понимаю, что все случившееся со мною в Трансваале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве – все это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где я полнее всего мог проявить себя. Помнится, я не скрывал от Лепехина, что потрясен этой сценой в «Ротонде»:

– Я никогда раньше не подозревал, что здесь, даже внутри мирного Киева, матери городов русских, можно встретить иностранных шпионов, ведущих себя столь нагло и без боязни.

– Да, – согласился Лепехин, – таких историй у нас немало. Уже давно длится потаенная война, о которой не станут трепаться в газетах. Поверьте, мы не сидим тут без дела. Наша разведка ежедневно занята работой, которая скажется в будущем. Мы ведем войну, когда она еще не объявлена... Однако почему вы свое решение откладываете до двадцать восьмого июня?

– Моя мать всегда высоко почитала этот день, Видовдан, день решающей битвы на Косовом поле...

Я отправил телеграмму отцу, что он может поздравить сына с чином поручика погранстражи. Человек иногда живет, сам не зная своей судьбы. Не потому ли так интересно жить?

3. Граница без замка

Теперь, когда граница СССР находится на постоянном и прочном замке, а сами пограничники стали народными героями, о которых немало пишут в газетах и книгах, надеюсь, не будет лишним напомнить о старой жизни русской погранстражи – какова она была раньше и успешно ли работала?

Пусть читатель не удивляется: военное министерство не совало нос в наши дела, мы были как бы автономной единицей в огромном аппарате вооруженных сил государства. Погранстража подчинялась министерству финансов и департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо: где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казну империи. Отнюдь это не значит, что мы вроде кладовщиков взвешивали товары или выступали в амплуа налогосборщиков, – мы оставались солдатами русской армии, и наша кровь не раз проливалась на узкую пограничную полосу...

Граница всегда привлекательна для людей, которые, помимо целей наблюдения и шпионажа, бегут от суда и наказания за преступления или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погоня и ловля в лесах бродяг, беспаспортных и дезертиров. Преследовать нарушителей «по горячим следам» мы имели право лишь на три версты от границы (после чего поиском занималась местная полиция). Но эти «горячие следы» иногда вводили нас и на территорию Германии, а немецкие пограничники – в азарте погони – иногда даже проскакивали с оружием через рубеж, что не считалось нарушением границы.

Много хлопот нам доставляли «факторы», занимавшиеся торговлей «живым товаром», – через их руки проходили за рубеж женщины для домов терпимости в странах не только азиатских, но даже европейских. Эти несчастные Акульки и Матрешки не знали, к чему их готовят, нанимаемые «факторами» под видом сезонных работниц для безобидной прополки полей с турнепсом или для сбора гороха.

Здесь скажу: в отличие от офицеров армии мы были крезами. Задержав контрабанду, наряд погранстражи получал 60 процентов стоимости товаров. Представьте себе арест трех тюков: в одном парижская парфюмерия, во втором дамское белье из Голландии, в третьем бельгийские кружева... Какие там сорок рублей месячного жалованья? У нас даже рядовые объездчики, у себя в деревне щи лаптем хлебавшие, в трактирах расплачивались «катеринками», а господа офицеры могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались с оттенком явного пренебрежения – «пенёнками»!

Официально мы именовались так: «Отдельный корпус погранстражи». По табельным и праздничным дням Граевская бригада выстраивалась напротив штаба «Потемкинских казарм», мы разворачивали свое знамя, а гарнизонный оркестр играл «Марш Радецкого» – того самого генерала Радецкого, который обессмертил себя историческими словами: «На Шипке все спокойно».

Зато на границе никогда не бывало спокойно!

.....

Граево – захудалый городишко Ломжинской губернии⁴, важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с прусским Кенигсбергом, где издревле короновались Гогенцоллерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны.

От бурного когда-то прошлого, в котором мне мерещилась разгневанная Бона Сфорца, угрюмый Стефан Баторий и прекрасная Барбара Радзивилл, в городе ничего не осталось (или

⁴ Ныне Граево входит в состав Белостокского воеводства Польской Народной Республики, неподалеку от южных границ нашей Калининградской области.

я, может быть, не сумел заметить). Тогда в Граево была фабричка, выпускавшая тесьму для корсетов и шнуровки дамских фигур, а центром всеобщего зловония и грохота служили костоломня и костеобжигательный завод. Общая же картина города, вписанного в пейзаж унылой долины, не вызвала у меня желания называться граевским старожилом. Грязный дым из фабричных труб и мастерских депо, копоть от множества паровозов, уличные рейнштоки (канавы), переполненные нечистотами, копеечный дух грязных лавчонок, где ту же граевскую тесьму продавали втридорога, выдавая ее за изделие Парижа, – все это, вместе взятое, отвращало от лицезрения даже прекрасных костелов и древних синагог, где затрушенные евреи еще восхваляли красавицу Эстерку, соблазнившую грозного короля Казимира Великого. В довершение всего езда по граевским мостовым была сопряжена с неизбежным сотрясением мозга...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.